



СОКРОВИЩА
ЛИРИЧЕСКОЙ
ПОЭЗИИ



ГАБРИЕЛА МИСТРАЛЬ

ЛИРИКА

Перевод
с испанского
О. Савича

Государственное издательство художественной литературы
Москва 1963

Составление, предисловие и
примечания
О. САВИЧА



Художник
Ф. ЗБАРСКИЙ

ГАБРИЕЛА МИСТРАЛЬ

(1889—1956)

В 1914 году на литературном конкурсе в Сантьяго, столице южноамериканской страны Чили, произошло редкое, хотя, казалось бы, малозначительное событие: премия была присуждена неизвестному поэту. Лауреатом стала некая Люсила Годой, учительница средней школы в глухой провинции.

Злые языки утверждали, будто жюри приняло свое решение в поисках наименьшего из зол: все представленные на конкурс произведения показались судьям очень слабыми; не дать премии значило сорвать связанный с нею ежегодный праздник. Три вольно написанных сонета под общим заглавием «Сонеты смерти» жюри выбрало якобы только потому, что надо же было что-нибудь отметить.

До сих пор рассказывают также, будто премированная поэтесса не смогла прочитать свои стихи на празднике, потому что у нее было всего одно платье, не подходящее для роскошной обстановки, и она слушала исполнение «Сонетов смерти», сидя на галерке. Эта легенда, вероятно, рождена тем, что Люсила Го-

дой, принявшая псевдоним Габриелы Мистраль, большую часть своей жизни прожила в бедности.

Она рано потеряла отца и с юных лет должна была искать кусок хлеба. Лишь благодаря собственной настойчивости, во многом отказывая себе, она сумела получить образование. Учительница по призванию, робкая при встречах с людьми, но в вопросах совести непримиримая, детям она внушала неизменную любовь. Зато те взрослые, которые зовутся «власть имущими», ее не любили. У нее были свои педагогические идеи; долгое время никто к ним не прислушивался. Ее назначали в самые глухие места. Особенно не нравились то, что упрямая учительница по вечерам, бесплатно, давала уроки взрослым. После детей первое место в ее сердце занимали крестьяне, среди которых она выросла. Всю жизнь она боролась за то, чтобы крестьяне приобщились к культуре.

Учительница Люсила Годой пережила большую личную трагедию. Но именно этой трагедии была обязана своим рождением поэтесса Габриела Мистраль.

В юности она встретила человека, которого любила навсегда. (Ее сердце вообще не знало измен.) Счастье было коротким. Ее избранник покончил жизнь самоубийством при обстоятельствах, которые на газетном языке называются «невьясненными». Историю своей любви Габриела Мистраль рассказала в первой книге своих стихов, да и впоследствии не раз возвращалась к ней. Зато Люсила Годой ни слова об этом не проронила.

Когда журналы и газеты просили стихов у Габриелы Мистраль, она почти никогда не отказывала. Но она долго не соглашалась выпустить в свет свою первую книгу. Дело здесь не только в скромности. Правда, Мистраль никогда не придавала особого значения

своим стихам: не хранила рукописей, раздавала их, не собирала напечатанного. Первую и наиболее прославленную книгу ее издал «Институт Испании» (Институт культуры стран испанского языка в США), и лишь затем ее переиздали на родине. Но если со времени присуждения премии до выхода книги прошло девять лет, то главным образом потому, что Мистраль долго сомневалась, должна ли она публиковать книгу, которая называется «Отчаяние». И только сознание, что ее личное отчаяние никогда не распространялось на жизнь в целом, никогда не влияло на ее отношение к людям, никогда не мешало ей любить и прославлять человеческое сердце, материнство, детство, природу, — только это сознание победило ее сомнения.

Когда ее имя стали называть за границей как имя первого чилийского поэта, пришло и признание ее педагогического таланта: ее назначили начальницей школы в городке Пунта Арена, затем в Темуко, где одним из ее учеников стал Пабло Неруда, и, наконец, в столице.

Были у Мистраль, конечно, и враги и завистники. Ей, как Гейне, отравляли жизнь «и ненавистью, и глупой любовью». Она никогда не вступала в полемику, нападки встречала молчанием, клевете противопоставляла только одно — правду.

Чилийские власти время от времени вспоминали, что она прославила свою родину за границей, и предоставляли ей консульский пост, на котором не требовалось особых дипломатических способностей и внешнего блеска. Однако купить ее было невозможно. Так, когда правительство Виделы преследовало Пабло Неруду и лишило его чилийского гражданства, Мистраль была консулом в Рапалло и приняла опального поэта у себя: чилийский посол в Риме потребовал у нее

объяснений; она ответила телеграммой: «Принимаю и буду принимать каждого чилийца, который постучит в мою дверь, и в особенности когда речь идет о моем старом друге и замечательном собрате Неруде».

Она много читала, хорошо знала мировую литературу. Ее любимыми авторами были не французы, как у большинства ее предшественников и современников, а русские классики (она открыла их Пабло Неруде). В этом — одна из разгадок ее удивительной человечности, простоты и глубины.

Зная и любя классиков, Мистраль никогда не относилась с высокомерием к современникам. Она была в дружеских отношениях не только с писателями Латинской Америки, но и с испанцами. Она встречалась с Роменом Ролланом, Барбюсом, была знакома с Максимом Горьким. В Лиге наций Мистраль работала вместе с Мари Кюри. Как консул, как сотрудник разных международных организаций и просто как путешественник она побывала в Испании, Италии, Франции, США и, конечно, в большинстве стран Латинской Америки. Везде она находила друзей, везде находила, что сделать, чем помочь.

В 1945 году Габриела Мистраль — первая в Латинской Америке — получила Нобелевскую премию по литературе. Шведская академия впервые заметила существование целого континента. На образе жизни нового лауреата это событие, впрочем, никак не отразилось.

Смерть застала Габриелу Мистраль в США. Там, по местным обычаям, не только набальзамировали тело, чтобы отправить его на родину, но и покрыли мертвое лицо гримом. При жизни Мистраль никогда не красилась, да и нравы в Чили иные, нежели в

США. Соотечественникам поэтессы грим на ее мертвом лице показался кощунством.

Ей были устроены национальные похороны. За гробом шли министры, генералы, послы. Произносились речи. Молчал только ее бывший ученик, другой чилийский поэт, чье имя также известно всему миру: Пабло Неруда. Гражданство ему, правда, вернули, но выступить не разрешили.

Поэт огромного дарования, подлинной мощи, Габриела Мистраль никогда не замыкалась в сфере узких, так называемых «женских» тем. О своей личной трагедии она рассказала как о неповторимой и в то же время тревожащей любое человеческое сердце. Судьба ее лирической героини поэтому волнует читателя так же, как судьба Офелии или Эммы Бовари. Глубокий лирик, пропуская все явления жизни через призму личного восприятия, она никогда не холила своего «я», не знала, что такое кокетство ни в жизни, ни в поэзии. Мало того, к самой себе она была не по-женски беспощадна: мысль об ответственности за свой дар, боязнь оказаться недостойной его не оставляли ее никогда. Она очень любила мелочи жизни и с подлинной наблюдательностью щедро отражала их в поэзии. Но никогда она не писала о мелком; все ее темы — большие темы.

Ее личная трагедия заключалась не только в потере любимого человека, — этого не хватило бы, чтобы стать большим поэтом. Высшим проявлением человеческого начала ей казалось материнство, высшим даром — дар воспитателя. Бездетную женщину она считала несчастным и бессмысленным существом. Судьба лишила ее материнства. Но жажда ребенка и сила та-

ланта были таковы, что чувства и психология матери открылись перед поэтессой до самой сокровенной душевной глубины. Кто мог бы сказать, прочитав ее стихи и поэмы в прозе, посвященные материнству, что ей самой выпало на долю любить только чужих детей? Всегда и повсюду — в стихах и в прозе, в школе и в быту — она защищала святость материнства. Достаточно вспомнить, с каким негодованием она отвергла лицемерное и, по существу, циничное предложение изъять из ее книги «Поэмы самой печальной матери» — девушки, изгнанной отцом из дому за беременность. Недаром, узнав о смерти Мистраль, одна из виднейших деятельниц мирового женского движения сказала: «Сегодня день траура у всех матерей».

Этот день был днем траура и для детей. Большую часть своей жизни и огромную часть своего творчества она посвятила им. В своей «Молитве учительницы» она поставила перед собой цель, которую смело можно назвать героической: «Дай мне стать матерью больше, чем сами матери, чтобы любить и защищать, как они, то, что не плоть от плоти моей». Когда она пишет для детей или о детях, в ее стихах неизменно появляется светлая улыбка, обычно столь редкая на ее лице. «Трудно себе представить что-нибудь печальнее класса, в котором мы занимались, — вспоминает один из ее учеников, — и трудно себе представить большую радость, чем та, которую мы получали в этом классе от ее уроков». А стихи для детей были, по существу, только продолжением этих уроков.

Над матерями и детьми в стихах Мистраль вырастает образ родины. За что любит она родину? «Нет злости ни в сердце, ни в речи у ею рожденных людей». Что она считает величайшим благом родной земли? «Свободна она». Что завещает поэтесса детям своей

родины? «Мы завтра утесы раздвинем и будем сады разбивать...»

Дочь маленькой страны и численно небольшого народа, живущего на краю Америки, Габриела Мистраль избежала всякого провинциализма. В этом ей, конечно, помогало то, что народы Латинской Америки ныне остро чувствуют свое родство, общность своей судьбы, и поэтому каждый деятель культуры считает себя не только сыном одного народа, но и сыном единого большого континента. В свою очередь, и народы этого континента считали Габриелу Мистраль дочерью всей Америки. Если ее «хороводы» обходят и Аргентину и Кубу, если она воспекает деревья, цветы, камни Мексики и Эквадора, плоды Уругвая и Пуэрто-Рико, то ведь и Мексика позвала ее на помощь, приступая к школьной реформе, Аргентина же издала больше ее книг, чем все другие страны.

В стихах Габриелы Мистраль есть элементы пантеизма и анимизма, — они идут от индейского восприятия мира. В нашем веке в Латинской Америке возник и все углубляется страстный интерес к индейской культуре, интерес не только исторический и вовсе не академический. Как индейская кровь течет в венах людей Латинской Америки, так индейская культура оказала и оказывает огромное влияние на их сознание. Это влияние ясно видно в живописи Риверы, Сикейроса, Портинари, Ороско, в графике Мендеса, в стихах Неруды, в прозе Астуриаса, Амаду. Люди Латинской Америки живут среди той же природы и в том же климате, как их предки. Типы их лиц приближаются к индейским. Во многих странах индейцы остаются основным населением. Но даже там, где они почти полностью истреблены, их след неизгладим. И наконец, борьба народов Латинской Америки против моно-

полий так похожа (со всеми историческими поправками, конечно) на борьбу индейских племен с конкистадорами!

Габриела Мистраль на редкость остро чувствовала это индейское происхождение и заговорила о нем раньше многих других. Ее солнце — «солнце инков и майя». О племенах кечуа или аймара она говорит так, как будто прожила среди них всю жизнь. Индеец для нее — не вырождающийся обитатель «резерваций», не ярмарочный экспонат, а брат, человек ее народа, ее континента.

Но и над образом всего континента в стихах Мистраль встает образ еще более высокий: Человек и Человечество. Как все большие поэты, она принадлежит всем людям, и все люди земли ей близки и дороги.

В годы первой мировой войны, то есть когда время еще не смягчило трагедии Люсилы Годой, а страна Габриелы Мистраль находилась за тысячи километров от любого фронта, поэтесса — может быть, несколько наивно — рассказала в стихах, как немецкие и французские дети, играя на склонах одной горы, вступают в единый хоровод и как родители присоединяются к ним.

С тех пор и до самой смерти она неутомимо проповедовала мир на земле, неизменно осуждала насилие. Она держалась в стороне от политики, и за это политические лицемеры ставили ее в пример другим. Однако в годы гражданской войны в Испании она отдала доход с двух своих книг в пользу детей, эвакуированных из республиканской зоны. А в 1950 году, в разгар «холодной войны», она написала взволнованную и горькую и все же полную надежды статью о необходимости борьбы за мир, назвав ее «Проклятое слово». Те, для кого мир действительно «проклятое слово»,

эту статью, конечно, замолчали, как замалчивали они и то, что Габриела Мистраль ставила свою подпись (живя в США и даже будучи консулом) под многими воззваниями о мире.

Мировая литература знает не так уж много больших поэтесс. Явление подобной поэтессы в отсталой, зависимой Латинской Америке (хотя и в одной из наиболее культурных стран ее) само по себе характерно для нашего времени. Мы знаем всю сложность пути младшего собрата Мистраль — Неруды. Между тем Неруда стал поэтом и начал со стихов об отчаянии, когда она была уже знаменита. Ей первой пришлось завоевывать право на собственный голос, собственную интонацию, собственную тему. Поэтому противоречия в ее творчестве были неизбежны.

В Латинской Америке и сегодня горячая безыскусственная вера в бога остается последним, хотя и обманчивым утешением для миллионов простых, темных и несчастных людей, в особенности женщин, среди окружающего их зла, несправедливости и отчаяния. Габриела Мистраль получила строго религиозное воспитание, католицизм владел умами и сердцами всех ее близких, и сама она считалась верующей, даже правдоверной.

Когда она была в Италии, папа римский, «духовный отец всех католиков», «наместник господ на земле», пожелал дать ей аудиенцию. Она изумилась: «А зачем мне нужен этот сеньор?» Ее уговорили отправиться на прием. Папа спросил ее, как всех, кого он принимает: «Что я могу сделать для вас, дочь моя?» Она попросила его вступить за индейцев — самую угнетенную расу во всей Америке, в том числе и на

ее родине. Папа с удивлением сказал: «Разве в Америке есть еще индейцы?» Вернувшись с приема, Габриела Мистраль воскликнула: «Я же говорила, что этот сеньор мне не нужен!»

Так обстояло дело с правоверностью. Но так ли уж нужен был Габриеле Мистраль и сам господь бог?

В стихах она часто обращается к нему. Это не риторический прием, это крик души. Но ее бог, как бог индейцев, чаще всего — природа. Он в колосе, в реке, в пустыне, в морской волне, в человеческом сердце. Он везде, но все же только там, куда проникает человеческий взгляд, человеческая мысль. Никакое небо не может заслонить перед глазами Габриелы Мистраль ни счастье жизни, ни зло этого мира, ни торжество добра, которого она хочет на земле, а вовсе не в вымышленном раю. В рай она не верит. Для разговора со своим богом ей не нужны ни священник, ни церковь. Она говорит с ним, как с равным, она то и дело спорит с ним, укоряет его, называет «больным» или «сторожем на маяке», который ничего не слышит. В других случаях бог — просто ее собственная совесть. Именно поэтому ни бог, ни условная загробная жизнь не могут скрыть от нее человеческое страдание. Голод она называет голодом и зло — злом, а не «императивом подсознания», как нынешние вожди религиозно-империалистической литературы.

В то же время, не прощая зла, Габриела Мистраль далеко не всегда умела найти его виновников; не примиряясь, не боролась; видя болезнь, не находила лекарства. В одном из своих поздних стихотворений она требует, чтобы люди сломали двери, разделяющие их; но дверей собственного дома, который казался ей тюрьмой, она так и не сломала.

В ее стихах образы Библии, индейской и классической древности соседствуют с современными и новаторскими; слова, которые в словарях называются поэтическими или устарелыми, — со словами обиходными, разговорными, нарочито прозаическими. У нее есть собственный словарь, не совпадающий с академическими. Любому явлению жизни она способна взглянуть прямо в лицо и не боится назвать его. В совершенстве владея стихом, классическим и современным, легко находя рифмы и «опорные гласные», на которых так часто строятся созвучия в испанском стихе, обновив и этот стих, и словарь испанской поэтической речи, она обращается со словом совершенно свободно, никогда не жертвуя смыслом ради звонкости, мыслью ради размера, образом ради ритма, а ритмом ради фокуса. В ее стихе все зависит от того, что она хочет сказать, — помимо ее воли он жить не может. А точный порядок рифм в сонете ее несколько не занимает.

Свою первую книгу она сопроводила послесловием, назвав его «Обетом»:

«...В этой сотне стихотворений кровотоцит больное прошлое, в котором песня изошла кровью, чтобы помочь мне. Я оставляю его за собой, как темную котловину, и по более милосердным склонам поднимаюсь к тем духовным высотам, где широкий свет упадет наконец на мои дни. Оттуда я произнесу слова надежды, не вглядываясь снова в свое сердце; скажу, как это сделал один сострадательный человек, чтобы «утешить людей»...»

Она честно старалась выполнить свой обет. Она готова была сама изойти кровью, чтобы помочь людям. Не ее вина, если двери, которых она так не любила, слишком часто закрывались перед ней. И все-

таки она сделала все, что могла, чтобы дать людям радость и надежду.

«В моей стране, — писал Пабло Неруда, — много поэтов, много поэтов есть во всей Америке, но трудно поверить, что может когда-нибудь еще родиться у нас поэтесса такого огромного таланта и большой души.

Мы услышим еще прекрасные голоса, услышим и песни повеселее, но этот голос безвозвратно утерян и умолк навсегда».

Каждый человеческий голос неповторим. Голос большого поэта — забываем.

О. САВИЧ

АМЕРИКА

ГИМН ТРОПИЧЕСКОМУ СОЛНЦУ

О солнце инков, солнце майя,
ты плод американский, спелый,
кечуа, майя обожали
твое сияющее тело;
и кожу старых аймара
ты выкрасило красным мелом;
фазаном красным ты встаешь,
уходишь ты фазаном белым;
художник и татуировщик
из рода тигров и людей,
ты — солнце гор, равнин, пустыни,
ты — солнце рек, теснин, полей.
Ты нас ведешь, и ты идешь
за нами гончей золотою,
ты на земле и в море — знамя,
для братьев всех моих святое.
Мы затеряемся — ищите
в низинах — раскаленных ямах,
на родине деревьев хлебных
и перуанского бальзама.

Белеешь в Куско над пустыней;
ты — Мексики большая песня,
что в небе над Майябом бродит,
ты — огненный маис чудесный, —
его повсюду жаждут губы,
как манны жаждали небесной.
Бежишь бегом ты по лазури,
летишь над полем голубым,
олень то белый, то кровавый, —
он ранен, но недостижим.

О солнце Андов, ты — эмблема
людей Америки, их сторож,
ты — пастырь пламенного стада,
земли горящая опора;
не плависься и нас не плавишь
в жаре сжигающего горна;
кетсаль, весь белый от огня,
создав народы, ты их кормишь;
огонь — на всех путях вожатый
огней блуждающих нагорных.

Небесный корень, ты — целитель
индейцев, исходящих кровью;
с любовью ты спасаешь их
я убиваешь их с любовью.
Кетсалькоатль, отец ремесел
с миндалевидными глазами,
индиго мелешь, скромный хлопок
возделываешь ты руками;
ты красишь пряжу индианок
колибри яркими цветами,
ты головы их вырезаешь,

как будто греческий орнамент;
ты — птица Рок, и твой птенец —
безумный ветер над морями.

Ты кроткий повелитель наш,
так не являлись даже боги;
ты стаей горлинок белеешь,
каскадом мчишься быстроногим.
А что же сделали мы сами
и почему преобразились?
В угоды, залитые солнцем,
болота наши превратились,
и мы, приняв их во владенье,
огню и солнцу поклонились.

Тебе доверила я мертвых, —
как на углях, они горели,
и спят семьею саламандр,
и видят сны, как на постели;
иль в сумерки они уходят,
как дрока заросли, пылая,
на Западе желтея вдруг,
топазами вдали сгорая.
И если в эти сорок лет
меня ты не вписало в память,
взгляни, признай меня, как манго,
как пирамиды-тезки камень,
как на заре полет фламинго,
как поле с яркими цветами.

Как наш магей, как наша юкка
и как кувшины перуанца,
как тыквенный сосуд индейца,
как флейта древняя и танцы,

тобой дышу, в тебе одном
и раскрываюсь и купаюсь.
Лепи меня, как ты лепил их,
свое дыханье в них вливая;
дай мне средь них и с ними жить,
быть изумленной, изумляя.

Я шла по чужеземной почве,
плоды чужие покупала;
там стол так тверд, бокал не звонок,
там жидок мед, вино устало;
я гимны пела мне чужие,
молитвы смерти повторяла,
спала под мертвую звездою,
драконов мертвых я видала.

Вернулась я, и ты верни мне
мой облик, данный от рожденья.
Обдай меня фонтаном алым
и вывари в своем кипенье.
Ты выбели и вычерни
меня в твоих растворах едких.
Во мне тупые страхи выжги,
грязь высуши, мечты проветри
и прокали слова и речь,
жги рот, и песню, и дыханье,
очисти слух, омой глаза
и сделай тонким осязанье.
И новой — кровь, И новым — мозг,
и слезы новыми ты сделай.
Пот высуши и вылечи
меня от ран души и тела.
И снова ты меня возьми
в те хороводы, что танцуют

по всей Америке огромной
и славят мощь твою святую.
Мы, люди кечуа и майя,
мы прежней клятвою клянемся.
Ты — вечно; к Времени уйдя,
мы к Вечности опять вернемся.
Опав, как золотые листья,
как красного руна шерстинки,
к тебе вернемся после смерти,
как говорили маги-инки.
Придем, как гроздя к виноделу,
бессмертье возвратится с нами;
так золотой косяк всплывает
по воле моря над волнами,
и так гиганты-анаконды
встают по свисту над кустами.

ЗЕМЛЯ ЧИЛИ

ВУЛКАН ОСОРНО

Осорно, камни пращой
в себя самого ты кидаешь.
Ты — старший пастух на равнине,
глава и рода и края.

Ты словно в прыжке застыл,
морозом скованный сразу,—
огонь, слепивший индейца,
в снегах олень белоглазый.

Вулкан, покровитель Юга,
чужая, твоей я стала,
чужой, ты мне стал родным
в долине, где свет я узнала.

Теперь ты везде предо мною,
владеешь душой и телом;
хожу вокруг тебя дозором,
пингвин мой, тюлень мой белый.

На наших глазах ты сгораешь,
как звезды падучие, светел,
и вот водой Льянкиуэ
твои причащаются дети.

Мы знаем, что добр огонь,
он в нас, как в тебе, пылает;
огонь индейской земли,
рождаясь, мы получаем.

Храни этот древний край,
спасай свой народ от горя,
дай сил лесорубам-индейцам,
указывай путь тем, кто в море.

Указывай путь пастухам,
Осорно, старик величавый;
расправь своим женщинам плечи,
покрой детей своих славой!

Погонщик белых быков,
расти ячмень и пшеницу,
учи своей щедрости землю!
Пусть голод тебя страшится!

Огнем раскуй нашу волю
и холод сердец растопи,
сожги поражений отраву,
а то, что мы ждем, — торопи!

Осорно, каменный выкрик
и окаменевший стих,
гони былое несчастье
и смерть от детей своих!

ВОДОПАД НА ЛАХЕ

Пороги на Лахе — грохот,
индейских стрел клокотанье,
прыжки обезьян серебристых
и двух берегов расставанье.

Проветриваешь ты скалы
и воду, алмазы теряя;
и между жизнью и смертью
индейцем в пучину ныряешь;

и, падая, пасть не может
твое слепящее чудо:
летит за тобою участь
Араукании трудной.

Ты падаешь самоубийцей,
а ставка — душа и тело;
летят за тобою время,
и радость, и боль без предела,
и смертные муки индейцев,
и жизнь моя в пене белой.

Волков обдаешь ты пеной
и зайцев слепишь туманом!
А мне твои белые вспышки
наносят все новые раны.

И слышат тебя лесорубы,
и путники, и старожилы,
и мертвые, и живые,
и люди душевной силы —

шахтеры и те, кто в запрудах
охотятся за шиншиллою.

Любовь побежденная мчится,
и радуя и калеча,
со стоном матери бедной,
летающей детям навстречу.

Понятен и непонятен
твой гул, водопад на Лахе,
дорога древних рыданий,
восторгов, что ныне — во прахе.

Вода с истерзанной грудью
похожа на Антигону:
так рушится мир без взрыва,
так падает мать без стола.

Уйду я с Лахой-рекою,
с безумными змеями пены,
уйду на равнины Чили
с печалью своей неизменной;
а ставка — и кровь и чувства,
и сдамся разбитой, забвенной...

ПЕЙЗАЖ ПАТАГОНИИ

Туман непроглядный, вечный, — чтоб я позабыла,
где выплеснута на берег соленой волною.
Земля, куда я ступила, незнакома с весною.
Как мать, меня долгая ночь от мира укрыла.

Вкруг дома ветер ведет переключку рыданий
и воплей и, словно стекло, мой крик разбивает.
На белой равнине, где горизонт нескончаем,
я вижу закатов болезненных умиранье.

К кому же может воззвать та, что здесь очутилась,
если дальше нее одни мертвецы бывали?
Они лишь видят, как ширится море печали
между ними и теми, с кем душа не простилась.

В порту — корабли; паруса белесого цвета;
они из стран, чьих людей не звала я своими;
моряки, незнакомые с цветами моими,
привозят бледные фрукты, не знавшие света.

И вопрос, как бы я задать его ни хотела,
не сорвется с губ, когда провожаю их взором:
их язык — чужой, не язык любви, на котором
в счастливые дни моя мать свою песню пела.

Вижу: падает снег, — так сыплется пыль в могилу,
вижу: туман растет, словно сама умираю,
и мгновений, чтоб с ума не сойти, не считаю,
потому что долгая ночь только входит в силу.

Вижу равнину, где боль и восторг бесконечны, —
по доброй воле пришла я к пустынным пейзажам.
Снег, как чье-то лицо, всегда за окном на страже,
его совершенная белизна вековечна.

Он всегда надо мной, как бога взгляд беспредельный
и как лепестки цветов апельсина на крыше;
и, словно судьба, что течет, не видя, не слыша,
он будет падать вот так же и в час мой смертельный.

МЕКСИКАНСКАЯ СОСНА

Деревцо из Аризоны
за пустыню зацепилось;
ветки сохнут, ветки стонут,
но растут с упрямой силой;
столько смелости и только
страсть единственная в жилах.

По иголкам запыленным
хлещет буря, арфы звонче;
ветер лижет эти ветки,
как язык голодной гончей;
а затишье — это отдых
от тревоги и одышки;
не дает прохлады ветер,
даже веток не колышет.

Горизонт, земля, пустыня,
край родной — нет в мире глаже;
дюны переходят в дюны,
пустота на небе та же.

Все — песок, песок летучий,
он один в пустыне голой;
травы сожжены, и только
подает песок свой голос.

«Нет!» — твердит песок извечный,
горизонт недвижно-синий.
«Нет!» — твердят зверей скелеты
пленнику большой пустыни.
«Да!» — горящему, как пламя,
только бог однажды кинул.

Шелест листьев, словно речи,
что на клятвы так похожи.
У кого прохлады просит
с лихорадочною дрожью?
Дерево зовет и плачет,
как людьми забытый странник.
С кем, родившись, говорило?
На кого пред смертью глянет?

Истоцившись, скоро стихнет
ураган, и без тропинок
к изувеченному телу
по миллионам злых песчинок
я приду и пятна вытру,
оторву сучки сухие,
осторожно и любовно
ветки подниму больные,
и рука моя очистит
эти соты огневые.

ХОРОВОД ВОКРУГ ЭКВАДОРСКОЙ СЕЙБЫ

*В мире свет, а в свете — сейба,
светом мира сейба дышит;
в этом дереве зеленый
зов Америки мы слышим.*

Выше, сейба, выше, выше!

Словно сейба не рождалась,
вечной мы ее считаем;
не сажал ее индеец
и река не орошает.

В небо, корчась, поднимает
двадцать змей, как будто крышу;
в непроглядной черной ночи
светом листьев что-то пишет.

Выше, сейба, выше, выше!

Не дотянется к ней стадо,
и топор ее боится;

от стрелы не расщепится,
от огня не загорится.

Ветки вдруг приходят в ярость,
словно буря их колышет,
и поет в восторге сейба,
хоть сама себя не слышит.

Выше, сейба, выше, выше!

В сентябре листва густая
начинает серебриться:
по коре, за каплей капля,
наземь молоко струится.

И танцуют вокруг гиганта
девушки с цветами вишен;
с ними матери танцуют
мертвые, — но только тише.

Выше, сейба, выше, выше!

Мы протянем руки каждой
матери, жене, невесте,
чтоб кружились в лунном свете
женщины и сейбы вместе.

*В мире свет, а в свете — сейба,
светом мира сейба дышит;
в этом дереве зеленый
зов Америки мы слышим.*

АРГЕНТИНСКИЙ ХОРОВОД

Хоровод, хоровод Аргентины
на тропике возникает,
и, спускаясь по рекам, с ними
он растет, берега заливая.
Осторожно обходит посадки,
перед зарослями выжидает.
Мы днем идем по дорогам,
без дорог, когда вечер тает.

Оставив Месопотамию,
он как будто бы исчезает:
распадаются наши звенья
под натиском урожаяв;
семь раз распадаются звенья
и семь раз опять возникают.

С откормленными стадами
он поляну пересекает,
среди черных и рыжих быков,
как пятна, платья мелькают.
Поет хоровод, и, как ветер,
он с песнею вырастает.

В Патагонию он приходит
и, бледнея в снегу, не тает;
последних наших подруг
мы на островах забираем.
Хоровод, хоровод Аргентины,
что на тропике возникает,
поворачивает обратно
там, где мир свои силы теряет.

В Антарктическом белом море
глубину до дна измеряет
и сворачивает обратно
там, где мир свои силы теряет,
хоровод, хоровод Аргентины,
что на тропике возникает.

КУБИНСКИЙ ХОРОВОД

По дороге с Востока на Запад
поднимаются над кругозором
с обнаженными шпагами листьев
королевские пальмы дозором.

Разбредаются, словно звезды
или стадо овец за забором,
и опять, как в строю, проходят
королевские пальмы дозором.

Меж кустами кофе и хлопка,
меж густым тростником и бором
пролагают себе дорогу
королевские пальмы дозором.

Перешагивая через рощи
и поля с, зеленым убором,
как лунатики, ночью проходят
королевские пальмы дозором.

Когда Куба, закутавшись шалью,
вся охвачена диким задором,
вместе с нами тихо танцуют
королевские пальмы хором.

Но сейчас, как души без тела,
с непонятым своим разговором
прямо в небо идут спокойно
королевские пальмы дозором.

УРУГВАЙСКАЯ ПШЕНИЦА

Под огнем январского солнца
наливается, зреет пшеница;
пальцы сжаты, глаза закрыты,
как туман, над ними ресницы.

Созревает с такою силой,
что я слышу ее созреванье,
если только коснусь рукою
иль щекой, задержав дыханье.

Так порывисто созревает,
а девичества не боится;
но меня страшит и смущает
этот взрыв в колосьях пшеницы.

И пусть смерть колосья ломает
своей высохшею десницей;
но, осыпавшись, вновь прорастает
и не знает смерти пшеница.

ПИТЬ!

*Я помню каждое движенье
тех рук, что воду мне давали.*

Где над ложиной Рио-Бланко
отроги Аконкагуа встали,
я подошла, я прикоснулась
к хлысту тяжелого каскада;
он мчался, шумный, пенногривый,
и, коченея, белый, падал.
Я прикоснулась ртом к кипенью
и обожглась, и, словно рана,
три дня кровоточил мой рот,
глотнув святой воды вулкана.

Недалеко от Митлы, в день
цикад, хожденья, суховея,
склонила над колодцем я,
и поддержал меня индеец;
и голова моя, как плод,
была его рукой укрыта.
Одна вода поила нас,

в ней были наши лица слиты,
и молнией пришло сознание:
мой род, он — плоть от плоти Митлы.

На острове Пуэрто-Рико,
полна покоем, синевою,
у вольных волн лежу, а пальмы,
как матери, над головою;
и девочка орех разбила
прелестной маленькой рукою.
И пальмы-матери подарок,
как дочь, пила я, не дыша.
Нет, слаще ничего не знали
вовек ни тело, ни душа!

Мне в доме детства мать всегда
в кувшине воду приносила,
и от глотка и до глотка
с нее я взгляда не сводила.
Глаза я выше поднимала,
и отходил кувшин назад.
И до сих пор со мною жажда,
лощина, материнский взгляд.
Да, вечность в том, что мы такие,
какими раньше мы бывали.

*Я помню каждое, движенье
тех рук, что воду мне давали.*

ДЕТСТВО

НОЖКИ

Ножки, ноги ребенка
на морозе синеют...
Как же видят вас люди
и не греют?

Вас булыжник изранил,
к вам отбросы бросают,
лед и снег, грязь и слякоть
вас кусают.

И не видят слепые:
там, где вы проходили,
возникает сиянье
белых лилий;
где на землю ступили
вы кровавой стопою, —
аромат туберозы
над тропюю.

Что ж, идите дорогой
незаметной, прямою,
совершенны и просты,
как герои.

Что вас в мире дороже?

А живете в обиде...

Как же люди проходят

и не видят?..

РУЧКИ

Ручки, детские руки,
вас зовут — попрошайки,
а ведь дольного мира
вы — хозяйки.

Ручки, детские руки —
у садовой ограды;
а плоды только вам
были б рады;
и для вас так прозрачна
в сотах сладость густая...
А люди проходят,
не понимая!

Ручки, белые руки,
за чужими межами
низко клонится колос
перед вами.

Но не требуют, просят
руки бедных и нищих.

Благословен да будет,
кто даст вам пищу!

Благословен, кто, слыша
крики рук бессловесных,
в мире вам возвращает
ваше место!

БЕЛЫЕ ОБЛАКА

— Белые нежные овцы из дальней дали,
с легким, как тюль, руном,
вы с любопытством девичьим встали
над голубым холмом.

Кажется, с небом советуетесь о погоде,
бури страшась;
или, чтоб двинуться дальше, приказа
вы ждете?

Есть ли пастух у вас?

— Как же иначе? Конечно, есть:
ветер — бродяга земной и морской.
Нежно он гладит порой нашу шерсть,
рвет на куски порой.

Гонит на север и гонит на юг,
гонит, и надо идти...
Но в синеве, где лежит бесконечный луг,
знает он все пути.

— Есть ли хозяин у вашего клада,
овцы с шерстью, как снег и пух?
Если б он мне поручил свое стадо,
был бы вам мил такой пастух?

— Есть и хозяин у нашей отары:
там, где ведут хоровод,
там, где дрожат золотые Стожары,
он, говорят, живет.

С нами ходить по долине подлунной
хватит ли сил твоих?
И у твоих овец тоже тонкие руна, —
что ж, ты покинешь их?

ИДЕТ СНЕГ

Ложится снег, чтоб завести знакомство
с большой землей моей.

Ложится снег, далеких звезд товарищ.
Бежим к нему скорей!

Летит бесшумно он, боясь как будто,
что людям повредит.

Луна и сны вот так же к нам приходят.
Смотри, как он летит!

Он чист. Он вышивает по долине,
как по холсту, цветы,
и пальцы легкие, едва касаясь,
закутали кусты.

Красив он. Разве он — не дар прекрасный
создателя небес?

Он из-за звезд свой пух лебяжий сыплет
на поле и на лес.

Не шевелись, чтоб он цветком свой росчерк
на лбу оставить мог.
Кто знает, не принес ли он посланья,
что пишет людям бог?

САЖАЯ ДЕРЕВО

Мы нежную землю взрыхляем
с любовью, с любовью большой;
из таинств другого не знаем,
столь властного над душой.

Мы с песнею ждем, чтоб корень
нашел материнскую грудь,
а свет, широк и просторен,
открыл ему к небу путь.

Росток отдадим без спора
мы доброй Воде и вам,
о Солнце, и вам, сеньора
Земля, и божьим рукам.

Как лучших людей — и лучше —
господь воспитает его
спокойным под бурей и тучей,
защитником всех и всего.

Ты встало. Мое ты. Клянусь я,
не будет страдать кора
от холода и от гнуса,
от шквала и топора.

Беречь твою жизнь я буду
и буду любить всегда.
Но как мне приблизиться к чуду
цветения и плода?

ГИМН ДЕРЕВУ

Брат дерево, когтями бурыми
впился ты в землю, в сон природный,
а лоб, пренебрегая бурями,
в упрямой жажде неба поднял.

Учи меня чтить всеми силами
ил и песок — мою природу,
но чтоб при этом не забыла я
про синий край, откуда родом.

Ты посылаешь проезжающим
издалека предупрежденье
широкой тенью освежающей
и кроной — знаком возрожденья.

Так о моем существовании
в пустыне, на море, на суше
пусть говорит мое влияние
на человеческие души.

Ты — созидатель без конца:
ты — слив и яблочк набуханье,
ты — лес строителя-творца,
ты — ветерка благоуханье,

листва — защитница певца,
свирили нежное дыханье;
ты — прирученная камедь,
смолы чудесное теченье,
костер и крыша, пух и медь
и мелодическое пенье.

О, дай мне силу плодотворную,
чтоб раздавать свое богатство,
чтоб мысль и сердце непокорные
вместили мир, вступив с ним в братство;

чтоб не были мне утомительны
работа, труд, концы, начала,
чтоб никакая расточительность
меня вовек не истощала.

В тебе я слышу лишь украдкой
сердцебиенье бытия, —
смотри, как в светской лихорадке
остаток сил теряю я.

Дай мне покой, и равновесье,
и мужественный идеал,
что в мрамор эллинский и в песню
дыханье божества вдыхал.

Нет о тебе вернее слова:
ты женской силы торжество, —
любая ветвь качать готова
в гнезде живое существо.

Одень меня листвою большою,
какою — скажут без труда
те, кто в лесу людском и с бою
не взяли ветки для гнезда.

Любых широт свободный житель,
свершаешь вечно тот же труд,
как слабых сильный покровитель
и обездоленных приют.

Душа моя, под каждым ветром
сквозь детство, старость, радость, боль
будь на любовь такой же щедрой,
и нужной, и простой, как соль.

МОЛЬБА О ГНЕЗДЕ

За брата возношу мольбу мою:
за беззащитное гнездо молю!

Здесь трели, оперяясь, льются,
здесь начинаются полеты;
а песни — божьими зовутся,
в крыле — небесные расчеты.

Пусть бриз его качает неявно,
и серебрит любовно месяц,
и, не сгибаясь, ветка держит,
и ничего роса не весит.

Пусть этой раковины полой,
вплетенной в веточки живые,
не тронут ни стекольщик-холод,
ни злые космы дождевые,

ни ветер, буйный на просторах, —
он может смять его, лаская, —

ни взгляды жадные, в которых
таится алчность воровская.

Уродуешь ты пыткой дикой
твои же лучшие создання:
ты посылаешь тлен гвоздике
и легкой розе — увяданье;
за то, что голос чист и звонок,
не трогай птиц в лесу, о боже!
Дрожа под ветром, как ребенок,
гнездо на сердце так похоже!

ДОНЬЯ ВЕСНА

Как белое чудо —
донья Весна.
В цветенье лимона
одета она.

А вместо сандалий —
широкие листья,
и алые фуксии
вместо мониета.

Навстречу к ней выйдем
по дымчатой прели —
к безумной от солнца,
к безумной от трелей.

Дохнет — и цветенье
все выше и шире:
смеется над всеми
печалями в мире.

Не верит, что в мире
есть зло и рутина.
И как ей понять их
в цветенье жасмина?

И как ей понять их,
когда без заботы
искрятся на солнце,
звонят водометы?

На землю больную,
на щели без дерна
кладет она розы,
кладет она зерна.

Потом кружевами,
зеленой резьбой
печальные камни
надгробий покроет...

О, сделай, Весна,
чтоб и мы без усилий
летели по жизни
и розы дарили.

То розы восторга,
прощенья, любви,
самоотреченья —
как розы твои.

БРОСАЙ В ЗЕМЛЮ СЕМЯ!

Борозда открыта; мягкая глубина,
как колыбель, зовет солнечное бремя.
Пахарь, работа твоя богу нужна.
Бросай в землю семя!

Голод, черный жнец, у твоего окна
не встанет зимой, костлявый, как время.
Чтоб были у нас хлеб, любовь, тишина, —
бросай в землю семя!

По жизни идешь, как по полю борона.
Так славь же надежду песнями всеми!
И знай, что бедность нам только на время
дана.
Бросай в землю семя!

Солнце благословляет тебя; весна
и бог тебя ветром целуют в темя.
Ты — человек, творец и яви и сна;
бросай в землю семя!

ЛЕТО

О лето, лето-король,
хозяин над всеми печами,
рабочий, — в руках все горит —
будь милостив с косарями.

Склонились над золотом жестким
своих колосьев колючих
без сил они. Ветер пошли им
на дружеских крыльях могучих.

О лето, земля обжигает,
пылает солнце над нами,
пылает гранат, раскрываясь,
и губы — живое пламя.

Лоза винограда устала
рожать эти гроздья густые.
Ручей, ослабев, уползает
от кары в пески сухие.

Взмахни, как платочком, тучей,
раскинь ее в небе руками
над сборщицей винограда
с пылающими щеками.

О лето, надменный король,
хозяин печей горящих,
ты свежести не истощай
в устах фонтанов звенящих.

Спасибо, что, высушив листья,
ты вырастило апельсины.
Спасибо за мак, — он пшенице
в полях не дает остынуть.

ДЕДУ МОРОЗУ

Дед Мороз, ночной кудесник
с приглушенной походкой,
с бесконечной бородою
и припрятанной находкой!

Я кладу чулки, ботинки
на балкон и все проверю;
только не раздай подарков,
не дойдя до нашей двери!

И пускай чулки промокнут,
ты не будь на них в обиде:
ведь они тебя весь вечер
так надеялись увидеть.

Отряхни чулки и в каждый
положи одну новинку:
Золушке венчальный перстень,
Красной Шапочке корзинку.

Не забудь соседки Марты,
дай ей дар твой лучший самый.
Я люблю ее: недавно
у нее не стало мамы.

Дед Мороз, большие руки,
ходишь, ходишь целый вечер;
глазки синие лукавы,
борода как шерсть овечья...

ДЕТСКИЕ ХОРОВОДЫ

Сидят и беседуют мамы
о тех, кто ушел воевать;
а дети в поля побежали,
чтоб красные маки срывать.

Играют немецкие дети
у склона высокой горы.
Играют французские дети
по правилам той же игры.

И песня взлетела на горы.
Прозрачна небесная высь.
И песенки двух хороводов
навстречу друг другу лились.

Слова для детей непонятны,
но вот хороводы сошлись.
В глаза посмотрели друг другу,
и руки сейчас же сплелись...

На поиски бросятся мамы,
и встретятся тоже они.
Увидят живую гирлянду,
и плач превратится в родник.

На поиски выйдут мужчины,
услышат, как дети поют,
и станет им жаль хоровода,
к нему они сами примкнут.

А после вернутся на поле,
пшеница без слез расцветет.
Когда же вечер погаснет,
то звезды начнут хоровод.

ЗЕМЛЯ

Мы землю чилийскую топчем,
что меда и розы нежней;
нет злобы ни в сердце, ни в речи
у ею рожденных людей.

Земля огородов зеленых,
земля, золотая, как ток,
земля виноградников красных
так нежно касается ног.

Весною учит смеяться,
зимою — верить и ждать;
танцующим ноги целует
со стоном счастливым, как мать.

Она хороша, и мы любим
на ней хороводом белеть.
Свободна она, и мы рады
прославить ее и воспеть.

Мы завтра утесы раздвинем
и будем сады разбивать;
мы завтра деревни построим,—
а нынче лишь можем плясать!

ВСЕ МЫ БУДЕМ КОРОЛЕВАМИ...

Королевами все мы станем, —
а королевства у моря лежат, —
Ифигения, и Росалья,
и Люсила, и Соледад.

В Эльки, долине, окруженной
сотней гор или больше еще,
встали вершины красного цвета,
цвета шафрана, к плечу плечо.

Мы говорили друг другу с восторгом,
свято веря, что будет так:
королевами все мы станем
и у моря повесим флаг.

С косами, в белых ситцевых платьях,
девочки семилетние, мы
по саду бегали за скворцами
там, где тень бросают холмы.

О четырех королевствах твердили,
веря, как мусульманин в Коран:
будут сказочные и большие
те королевства приморских стран.

За четырех королей мы выйдем
замуж, как это делалось встарь;
будут царями и будут певцами,
как Давид, иудейский царь.

Будет у нас, потому что огромны
те королевства приморских стран,
много зеленых морей и ракушек
и сумасшедшая птица — фазан.

Будет так много плодов и солнца,
в реках будет течь молоко,
и мы леса рубить не станем
и обойдемся без денег легко.

Знали мы: каждая — королева
дальней, но достоверной земли.
Но королевами мы не стали
ни поблизости, ни вдали.

Моряка полюбила Росалья,
с морем он был уже обручен,
и за то, что нарушил клятву,
в бурю на дне остался он.

Братьев своих Соледад воспитала,
хлеб замесила им кровью своей;
темными так глаза и остались,
потому что не знали морей.

С чистой душой, душой, как пшеница,
трудной судьбы не преодолев,
не отходит от колыбелей
сыновей других королев.

На пути с незнакомцем встреча
Ифигению кинула в дрожь,
И пошла она с ним покорно,
так как мужчина на море похож.

А Люсила с рекой говорила,
и с горой, и с ширью полей,
и под луною безумья вправду
королевство досталось ей.

Облака — ее царство большое,
перед нею — море из слез,
в море мужа она потеряла,
мантию ткали ей отблески гроз.

Но в долине Эльки — над нею
сотня гор или больше еще —
родились и поют другие,
веря в истину слов горячо:

«Королевами все мы станем
на достоверной земле, вдали,
королевства будут большие,
королевства приморской земли».

**ЧТОБЫ ПЕТЬ, КОГДА ИЩУТ
СПРЯТАННЫЙ ПРЕДМЕТ**

БЕСПАЛАЯ

Устрица пальчик мой откусила,
тут же усталость ее подкосила,
и на песок упала она,
и подхватила ее волна.
Выловил в море ее китобой
и в Гибралтар привез с собой.
И рыбаки поют в Гибралтаре:
«В море далеком, вдали от земли,
девочкин пальчик в море нашли,
кто потерял, ищи на базаре».

Дайте корабль мне — пальчик мне нужен:
на корабле должен быть капитан;
у капитана — обед и ужин,
много матросов и барабан.
В город Марсель пойдет барабанщик:
площади, башни и корабли.
Песню о пальце поет там шарманщик:
«Девочкин пальчик в море нашли.

Горе случится, Марсель, с тобою,
если ты не вмешаешься тут.
Песню о пальце поют китобои,
а в Гибралтаре все ждут и ждут...»

СОРИНКА

Девочку вылепили из воска!
Нет, это вовсе не так уж просто.
Это — сноп на зеленом поле.
Нет, и не сноп. Ну так дерево, что ли?
Это — подсолнечник пышный, тугой!
Разве подсолнечник гнется дугой?
Это луч солнца зажегся в стекле
и заиграл в воде на столе.
Вовсе не солнце, не луч, не росинка —
просто мне в глаз попала соринка.

А пока я все это твердила,
время для поисков я упустила!

КРЫСА

Крыса бегом за ланью бежала,
лани за ягуаром бежали,
а ягуары к буйволу мчались,
буйволы море вовсю догоняли,

Остановите бегущих скорей!
Остановите крысу и ланей,
буйволов, тигров и волны морей!

Вот поглядите: крыса играет
шерсти клубком на своем пути;

из этой шерсти вяжу я платье,
а в этом платье мне замуж идти.

Пусть же бегут по трубному зову
без остановки, во весь опор
гости толпой во главе с новобрачной,
белый букет и венчальный убор!
И полетят колокольни и башни
прямо на свадьбу, прямо в собор!

ПЕРЕДОВЕРИЕ

Просила я пшеницу в поле,
чтоб зерна горькими не стали;
просила гроздья винограда,
чтоб сына мне не опьяняли.
Вино и колос услышали
и, чуть качнувшись, обещали.

Медведя черного просила —
к нему другие не зывали, —
чтоб звери, мальчика увидев,
его в лесу не растерзали.
Шерстинки черного медведя,
чуть шевельнувшись, обещали.

Шепнула на ухо цикуте
(нечистая в сторонке встала),
чтоб, если в рот ее возьмет он,
она его не убивала.
И поняла меня цикута
и, чуть качнувшись, обещала.

И я уговорила реку
(вода коварная бежала),
чтоб не губила, не топила,
всегда несла и узнавала.
И всплеском животворной пены
река мне это обещала.

Так обхожу я все на свете,
чтоб на него все поглядели;
смеются женщины — ребенка
я унесла из колыбели;
как будто без дождя и ветра
живут гранат и шишка ели!

Когда он снова в колыбели
ореховой, в тепле пеленок,
весь мир я страстно умоляю,
и ночью я шепчу спросонок,
чтоб мир, как мать, моим безумьем
был поглощен, был чист и звонок,
и чтоб он радовался так же,
как выношенный мной ребенок.

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ
ПЕСНИ

* * *

Ночь темна и бесприютна,
ночь спустилась на моря.
В люльке я тебя качаю —
и не одинока я.

Небо в мире бесприютно,
месяц катится в моря.
На руки тебя взяла я —
и не одинока я.

Люди в мире бесприютны,
и у всех печаль своя.
Я к груди тебя прижала —
и не одинока я.

КАЧАЯ КОЛЫБЕЛЬ

Море волн миллионы
качает звонко.
Слыша ласку морей,
качаю ребенка.

Ветер-путник пшеницу
качает легонько.
Слыша ласку ветров,
качаю ребенка.

Бог мильоны вселенных
качает тихонько.
Слыша голос его,
качаю ребенка.

НОЧЬ

Тихо мальчик засыпает,
и погас закат в окне.
Блеск? Одна роса блистает.
Свет? Лежит он лишь на мне.

Тихо мальчик засыпает,
на дороге тишина.
Вздых? Одна река вздыхает.
Жизнь? Не сплю лишь я одна.

Затопил туман лощину,
скрылся замок голубой;
лег на спящую долину,
как рука на лоб, покой.

Я тихонько напевала,
и дитя качала я,
а под пень задремала
вся усталая земля.

ПЕЧАЛЬНАЯ МАТЬ

Мой хозяин, мой владыка,
спи без страха и тревог;
но моей душе не спится,
нет у сна ко мне дорог.

Спи, и пусть твоё дыхание
будет тише в легком сне
стебелька травы на поле,
шелковинки на руне.

Спит в тебе моя тревога,
и тоска, и боль обид.
За меня глаза смежаешь, —
я не сплю, но сердце спит.

КРОТОСТЬ

Для тебя пою я песню,
в ней земля не знает зла;
как твоя улыбка, нежны
и колючки и скала.

Для тебя пою, — из песни
изгнала жестокость я;
как твое дыханье, кротки
и пантера и змея.

СТРАХ

Не хочу, чтоб когда-нибудь в жизни
моя девочка ласточкой стала,
чтобы в небо она уносилась
и к циновкам моим не слетала,
чтоб гнездо она в роще свивала,
а волос я бы ей не чесала.
Не хочу, чтоб когда-нибудь в жизни
моя девочка ласточкой стала.

Не хочу, чтоб когда-нибудь в жизни
моя дочка принцессою стала.
В золотых башмачках с каблучками
разве девочка в поле играла б?
Разве под вечер рядом со мною
на постели одной засыпала б?..
Не хочу, чтоб когда-нибудь в жизни
моя дочка принцессою стала.

Ни за что не хочу, чтоб однажды
моя дочь королевою стала.
Ведь ее усадили б на троне, —

мне бы входа туда не бывало.
Да и под вечер больше, конечно,
я бы в люльке ее не качала...
Не хочу, чтоб когда-нибудь в жизни
моя дочь королевою стала!

РОСА

Жила-была роза,
полна росюю.
Так сын в моем сердце
всегда со мною.

Сжимается роза,
чтоб роса укрылась,
избегает ветра,
чтоб роса не скатилась.

Роса приходит
из мироздания,
любовь рождает
ее дыханье.

От счастья роза
все молчаливей,
среди всех роз
нет ее счастливей.

Жила-была роза,
полна росой.
Так сын в моем сердце
всегда со мною.

НАХОДКА

Я шла по полю,
нашла ребенка:
в стогу зарывшись,
он спал тихонько.

А может быть, я
в саду проснулась:
я гроздь искала,
щеки коснулась.

Глазам я больше
не дам закрыться:
не то росую
он испарится.

ЗЕМЛЯ И ЖЕНЩИНА

Если день на белом свете, —
мальчик мой не засыпает:
над его головкой нежной
свет с ним игры затевает.

Машет ветками аллея,
пляшут звонкие стрекозы,
тучки делают на небе
пируэты, словно козы.

В полдень громкая цикада
для него трещит так звонко;
ветер, легкий и проворный,
разбросает вдруг пеленки.

Ночь придет, сверчок лукавый
постучит и убегает;
звезды выйдут, — а уж эти
только знают, что мигают.

Матери другой шепчу я:
«Ты полна дорог и далей;
своего ты убаюкай,
и тогда уснет мой мальчик».

Терпеливая безмерно,
вся в сетях дорог и вод,
отвечает: «Убаюкай
своего, и мой уснет».

МОЯ ПЕСНЯ

Песню ту, что я сложила
для детей, чья жизнь — мученье,
из простого сожаленья
ты мне спой!

Колыбельную, что пела
детям слабым и голодным —
ранена и я сегодня —
ты мне спой!

Бьет в глаза мне свет жестокий,
каждый шум меня тревожит;
песню, чтоб заснуть мне тоже,
ты мне спой!

Песни я ткала, не пела,
был, как снег, рисунок тонок;
что душа моя — ребенок,
знала ль я?

Песню ту, что я сложила
для детей, чья жизнь — мученье,
из простого сожаленья
ты мне спой!

БОЛЬ

ВСТРЕЧА

Я встретила с ним на тропинке.
Вода не рассталась со снами,
и розы в руке не раскрылись,
но душу раскрыло пламя.
И вот у женщины бедной
лицо залито слезами.

Веселую песенку пел он,
не знали заботы губы;
взглянул, и мне показалось,
что в небе запели трубы.
И я поняла, что тропинку
из снов подсказала мне память.
И вот на заре алмазной
лицо залито слезами.

Свой путь продолжая с песней,
глаза мои взял он с собою.
Его провожая, не стали
пышней и выше левкои.
Ну что же! В воздухе сердце

осталось и реет, как знамя.
Нет раны на теле, а все же
лицо залито слезами.

У лампы он не проводит
такой же бессонной ночи;
моей тоски он не знает,
моей тревоги не хочет;
но, может быть, запах дрока
встает над легкими снами:
недаром у женщины бедной
лицо залито слезами.

Одна, без страха и слез,
я голод и жажду встречала,
но вот настигнута я
внезапным господним жалом;
и молится мать обо мне
доверчивыми губами;
но, может быть, вечно будет
лицо залито слезами!

ЛЮБОВЬ — ВЛАДЫКА

Смело борозды топчет, в ветре машет крылами,
в небе с солнцем сияет, входит с лесом в родство;
и тебе не удастся заглушить свою память, —
будешь слушать его.

Говорит речью бронзы, говорит речью птицы,
эти робкие просьбы — это воля морей;
и тебе не удастся дерзкой быть и сердиться, —
не закроешь дверей.

Он придет, как хозяин, что ему оправданья,
все затопит цветами и растопит ледник;
и тебе не удастся прошептать «до свиданья»,
если в дом он проник.

Хитроумны и лживы все его утверждения,
в каждом доводе мудрость, что ответишь ему?
Здравый смысл тебя спас бы, но в любви нет
спасенья, —
ты поверишь всему.

По рукам тебя свяжет, и уж ты неживая,
и бежать ты не сможешь, хоть в руке его нож;
поведет, и пойдешь ты, околдована, зная,
что на смерть ты идешь.

МОЛЧАЩАЯ ЛЮБОВЬ

В словах прямых, на точность цифр похожих,
могла б я ненависть излить при встрече;
но я люблю, моя любовь не может
довериться людской туманной речи.

Ты хочешь жалобу ее услышать,
но из таких глубин она исторгла
свой огненный поток, что он чуть дышит,
что он немеет, не дойдя до горла.

Я — тот сосуд, что вровень с краем налит,
тебе ж кажусь фонтаном без движенья.
Мое молчанье целый мир печалит,
оно страшней, чем смерти наступленье.

ТАК ХОЧЕТ БОГ

I

Земля станет мачехой, если
предаст и продаст мою душу
душа твоя. Вздрогнут от горя
и воздух, и море, и суша.
Меня в союзники взял ты —
прекрасней вселенная стала.
Шиповник стоял с нами рядом,
когда у нас слов не стало,
и любовь, как этот шиповник,
ароматом нас пронизала.

Но землю покروют гадюки,
если ты предашь мою душу;
не спев колыбельной сыну,
молчанья я не нарушу;
погаснет Христос в моем сердце,
и дверь, за которой живу я,
сломает нищему руку
и вытолкнет вон слепую.

II

Когда ты целуешь другую,
я это слышу и знаю;
глубокие гроты глухо
твои слова повторяют;
в лесу, на глухих тропинках
твои следы под росую,
и я, оленем по следу,
в горах иду за тобою.
Лицо той, кого ты любишь,
в облаках встает надо мною.
Беги, как вор, в подземелья,
ищи с ней вместе покоя,
но лицо ее ты поднимешь, —
мое в слезах пред тобою.

III

Бог тебе земли не оставит,
если ходишь ты не со мною;
бог не хочет, чтоб пил ты воду,
если я не стою над водою;
он заснуть тебе не позволит,
если день ты провел с другою.

IV

Уйдешь — на твоей дороге
даже мох мне душу изранит;
но жажда и голод в долинах
и в горах от тебя не отстанут;
езде над тобой мои язвы
кровавым закатом встанут.

С языка мое имя рвется,
хоть другую ты окликаешь;
я, как соль, впилась в твое горло,
как забыть ее, ты не знаешь;
ненавидя, славя, тоскуя,
лишь ко мне одной ты взываешь

V

Если ты умрешь на чужбине,
то, с протянутою рукою,
собирая в нее мои слезы,
десять лет пролежишь под землею,
и будет дрожать твое тело
в тоске, как в ветре колосья,
покуда костей моих пепел
в лицо твое люди не бросят.

БЕССОННИЦА

Царица ныне, нищею была я,
и вот меня не оставляет дрожь,
и спрашиваю не переставая:
«Ты все еще со мной? Ты не уйдешь?»

Хочу на всех дорогах улыбаться,
всем доверять: ведь ты ко мне пришел!
Но научилась и во сне бояться
и спрашивать: «Ты здесь? Ты не ушел?»

СТЫДЛИВОСТЬ

Когда ты смотришь на меня, красивой
я становлюсь, как под росую травы,
и не узнают стати горделивой
моей, когда сойду к реке, купавы.

Мне стыдно губ печальных, кожи бледной,
надломлен голос мой, остры колени.
Ты посмотрел и ты пришел, — и бедной
себе кажусь, бесплотной, словно тени.

Ты не найдешь и камня в темной нише,
чтоб свет так обходил его с рассвета,
как женщину, чье пенье ты услышал
и на нее взглянул глазами света.

Я молча отвернусь, чтоб не узнали
прохожие о выпавшей мне доле
по блеску глаз — за ними звезды встали,—
по жестам рук, опущенных дотоле.

Настала ночь. Роса приходит к травам.
Глаз не спускай с меня, люби нелживо.
Пусть завтра же, сойдя к реке, к купавам,
от поцелуев стану я красивой!

БАЛЛАДА

Он прошел с другою
на глазах моих.
Мирная дорога,
легкий ветер тих.
А он прошел с другою
на глазах моих!

Любит он другую,
а земля в цвету.
Тихо умирает
песня на лету.
И любит он другую,
а земля в цвету!

Обнял он другую,
ластилась волна,
по волне скользила
белая луна.
А жизнь мою отвергла
моря глубина!

Хочет он с другою
вечность открывать,
будет небо тихим
(любит бог молчать).
А хочет он с другою
вечность открывать!

ГОРЕ

В этот час мой — он горше морского рассола —
поддержи меня, боже!

Вся дорога наполнена мраком и страхом,
да и голос мой — тоже.

Огневою пчелою любовь пролетела
через море и сушу,
опалила мне рот, опечалила песню
и сожгла мою душу.

Ты видал, как спала я у края тропинки,
ни о чем не горя.

Ты слышал, как в моем роднике зазвенели
колокольчиком струи.

Знаешь ты, что мой страх перед страшным
виденьем
был совсем не причудой.

Знаешь ты, как боялась и все ж увидела
несказанное чудо.

А теперь, сиротой, все ищу я па ощупь,
где твой дом, где дорога.

Так не прячь же лица, не лишай меня света,
не молчи, ради бога!

Если дверь ты запрешь, то усталость и горечь
я вовек не забуду;
а ведь в мире зима, и глазами безумья
ночь глядит отовсюду.

Посмотри: из всех глаз, что со мною глядели
на пути и тропинки,
лишь твои мне остались. Но — горе мне, горе! —
их закрыли снежинки...

НОКТИУРН

Отче наш, иже еси на небесех,
почему ты забыл обо мне?
О плоде в феврале ты вспомнил,
когда мякоть стала краснеть.
Налились мои раны кровью,
но не хочешь сойти ко мне.

О чернеющих гроздьях ты вспомнил,
и в давящую ты их послал;
листья тополя ветром сбросив,
ты их в воздухе поддержал;
но расплющить в давящей смерти
мою грудь ты не пожелал.

У дороги раскрылись фиалки,
предлагает мне ветер свой хмель.
Опустила я желтые веки,
не гляжу, январь ли, апрель.

Мне стихи затопили губы,
но сказать их мне не дано.

Ты изранил молнией тучу
и забыл про мое окно.

Меня предал тот, кто оставил
поцелуй на моей щеке.
Он в стихи мои кровью вписан,
как твой лик на грубом платке.
Окружали враги и трусы
меня в смертной моей тоске.

И усталостью бесконечной,
как слезами, глаза полны;
то усталость дня перед смертью
и тех зорь, что прийти должны;
то усталость серого неба
и усталость голубизны.

Каждый вечер, снимая обувь
с ног разбитых, молю я о сне
и, твой крик повторяя, взываю,
затерявшись в ночной тишине:
отче наш, иже еси на небесех,
почему ты забыл обо мне?

СОНЕТЫ СМЕРТИ

I

Твой прах оставили люди в кладбищенской щели —
зарю тебя на залитой солнцем опушке.
Не знали они, что засну я в той же постели,
и сны нам придется смотреть на одной подушке.

Тебя уложу я в землю так тихо и нежно,
как мать — больного уснувшего сына под полог,
и станет тебе земля колыбелью безбрежной,
и сон твой последний будет спокоен и долог.

Смету с тебя землю и розы, что слиплись вместе,
и под голубой, воздушной и нежной луною
останется прах твой в плену у новой разлуки.

И уйду я с песней о великолепной мести:
не спустятся в тайную глубь, чтоб спорить со мною
из-за горсти костей, другие женские руки.

II

День придет, и станет усталость слишком большою,
и душа скажет телу, что не хочет тащить
его груз по розовой жизни тропой земною,
где проходят люди, которые рады жить.

Услышишь, как роят могилу рядом с тобою:
уснула другая и в мертвый вступает град.
Я подожду, пока меня не засыпят землею,
и вот будем мы говорить хоть вечность подряд!

Узнаешь только тогда, почему до срока,
когда твои губы жизнь с упоением пили,
уснул ты, не зная, что значит устать и болеть.

Забрезжит свет из пределов туманного рока;
узнаешь, что знаки светил наш союз скрепили, —
разорвав договор, ты должен был умереть...

III

Вторглись дурные руки в питомник снежных лилий,
где цвела твоя жизнь, пока по знаку светил
я из него не ушла. Наслаждением там жили.
Дурные руки на горе ты в сердце впустил...

II сказала я господе: «На путях смертельных
он в бездну летит, если мы его не спасем.
Вырви его из этих рук роковых, бездельных
иль в сон погрузи, который мы смертью зовем.

Ни крикнуть ему, ни идти за ним не смогла!
Под траурным ветром бурь мчится его ладья.
Возврати его мне или срази его плоть!»

Розовая ладья его жизни ко дну пошла.
Так любовь велика, что жалость убила я.
Будешь судить меня, — ты это поймешь, господь!

НАПРАСНОЕ ОЖИДАНИЕ

Я забыла, что в прах обратились
твои легкокрылые ноги,
и вышла, как в лучшие дни,
навстречу тебе по дороге.

Прошла по долине с песней,
но голос мой надломился.
Вечер свой кубок со светом
опрокинул, а ты не явился.

Осыпался понемногу
мак солнца, от зноя сгорая;
бахрома тумана над полем;
а я одна... все одна я.

Сухого дерева руки
трещат на ветру, коченея.
И в страхе я позвала:
«Любимый, приди скорее!

Мне страшно, и я люблю,
приди скорее, любимый!»
Все гуще ночь становилась,
а бред мой — неудержимей.

Я забыла, что стал ты глух
к моему безумному зову;
я забыла твою немоту
и цвет белизны свинцовой,
большие глаза, которым
открылось высшее знание,
твою неподвижную руку, —
ты мне ее не протянешь.

Асфальт свой ночь разлила,
как лужу. Над полем крылья
со страшным шелестом шелка
пронес предсказатель — филин.

Я звать тебя больше не буду,
ты свой день на земле отработал;
все идут мои ноги босые,
отдыхаешь ты от заботы.

Зачем по дороге пустынной
на свиданье с тобой бежать мне?
Не станет плотью твой призрак
в моих раскрытых объятьях.

ОДЕРЖИМОСТЬ

Росою на лоб ложится,
закат покрывает кровью,
лучом луны меня ищет
у каждого изголовья.

Кладет мою руку, как будто
Фомой неверным я стала,
на кровоточащие раны,
чтоб мук я не забывала.

Сказала ему, что смерти
хочу я, но он не хочет;
он хочет быть в ветре со мною,
и в снег меня кутать ночью,

и в снах моих, как на волнах,
всегда подниматься на гребень,
и звать меня отовсюду
зеленым платком деревьев.

Бежать под другое небо?
Была в горах и у моря,
но шел он рядом со мною
и каждому вздоху вторил.

О, как ты была небрежна —
старуха, что тело омыла,
но глаз ему не закрыла
и рук в гробу не сложила.

УВИДЕТЬ ЕГО СНОВА

И больше никогда — ни ночью, полной
дрожанья звезд, ни на рассвете алом,
ни вечером сгорающим, усталым?

Ни на тропинке, ни в лесу, ни в поле,
ни у ручья, когда он тихо плещет
и, как чешуйки, в лунном свете блещет?

Ни под распущенной косою леса,
где я звала его, где ожидала;
ни в гроте, где мне эхо отвечало?

О нет! Где б ни было, но встретить снова —
в небесной заводи, в котле кипящих гроз,
под кротким месяцем, в свинцовой мути слез!

И вместе быть весною и зимою,
чтоб руки были воздуха нежнее
вокруг его залитой кровью шеи!

ФОНТАН

Я на фонтан заброшенный похожа —
он, мертвый, слышит свой ушедший гул;
уста из камня все еще тревожа,
вчерашний шум не умер, а уснул.

Я верю, что судьба не оглашала
свой страшный приговор и что, скорбя,
Я ничего еще не потеряла
и, руки протянув, коснусь тебя.

Я — как немой фонтан; в саду струится
чужая песнь, чужое торжество;
ему ж, безумному от жажды, снится,
что эта песня — в сердце у него;

что он взметает плещущие струи
в голубизну, — а он уже заглох;
что грудь его впивает поцелуи
живой воды, — а воду вылил бог.

ВАЗА

Я мечтаю о вазе из простой бедной глины,
чтобы твой прах всегда хранить доступным для
зренья;
крышкой вазы щека моя будет, и, едины,
тогда наши души найдут умиротворенье.

Не хочу, чтоб лежал в золотом ярком сосуде,
ни в языческой амфоре, чувственном созданье;
лишь ваза из глины тебе оболочкою будет,
простой и бедной, как складки моих одеяний.

В такой же вечер соберу я глину руками
у реки, волнуясь и вся дрожа, как от стужи;
и женщины мимо пройдут с большими снопами,
не зная, что я собираю постель для мужа.

Горсточка праха, из рук моих выскользнув сразу,
исчезнет бесшумно, как звуки за перевалом.
Неземным поцелуем запечатаю вазу
и взглядом тебя я покрою, как покрывалом.

ПОЭМА О СЫНЕ

I

Сына, сына, сына! В минуты счастья земного
сына, чтоб был твой и мой, я хотела;
даже в снах повторяла твоё каждое слово,
и росло надо мной сияние без предела.

Сына просила! Так дерево в крайнем волненье
весной поднимает к небу зелёные почки.
Сына с глазами, в которых растёт изумленье,
сына в счастливой и сотканной богом сорочке!

Руки его, как гирлянды, вокруг моей шеи;
река моей жизни с ним рядом, как с пышным лугом;
душа моя — аромат и прохлада аллеи,
чтоб скала на пути и та была ему другом.

Когда в толпе, с любимым об руку, мы встречали
будущих матерей, мы глаз с их лиц не сводили;
и без слов мы столько вопросов им задавали!
А глаза ребенка в толпе, как солнце, слепили.

По ночам не спала от счастья, что сна чудесней,
но огонь сладострастья не спускался к постели.
Чтоб он родился, как птица, с волшебною песней,
себя берегла я и силы копила в теле.

Я думала: чтобы купать его, солнца мало;
над коленями плакала: для него костлявы;
от грядущего дара сердце во мне дрожало,
и сами лились слезы скромности, а не славы.

Нечистой разлучницы-смерти я не боялась:
его глаза тебя в небытие не пускали;
в предрассветную дрожь или в немую усталость
вошла бы под этим взглядом без всякой печали.

II

Мне теперь тридцать лет. И на висках застывает
преждевременный пепел смерти. В ночах бессонных,
как вечный тягучий дождь, сердце мне заливают
злая горечь медленных слез, холодных, соленых.

Огнем отливает сосна, хоть солнца не знала.
Все думаю я, чем бы стал ребенок, рожденный
такою матерью, — я в жизни слишком устала, —
сын с сердцем моим — сердцем женщины
побежденной.

И с сердцем твоим — цветущим плодом ядовитым,
с твоими губами, — ты б снова лгать их заставил.
Никогда любовью моей он не был бы сытым:
только потому что он — твой, меня б он оставил.

В каких же цветущих садах и проточных водах
он отмыл бы весной свою кровь от моей боли?
Я печальной была под солнцем и в хороводах,
и на раны его я бы насыпала соли.

А если бы вдруг губами, сведенными злобой,
он сказал мне то, что родителям я сказала:
«Вы живете в печали, — так зачем же вы оба
родили меня, чтоб такой же, как вы, я стала?»

Есть печальная радость в том, что спишь
беспробудно
в земляной постели твоей, и мне не придется
сына качать, и сама засну без мысли трудной,
без угрызений, как на дне немого колодца.

Потому что я, обезумев, век не смыкала б,
все слыша сквозь смерть, вставала бы ночью
украдкой
на колени истлевшие, костями стучала б,
если б в жизни трясла его моя лихорадка.

Отдыха божьего я не узнала б в могиле,
в невинной плоти пытали б меня изуверы,
вечно, вечно бы вены мои кровоточили
над потомством моим с глазами горя и веры.

Блаженна я, как последняя в книге страница;
блаженно чрево, в котором мой род умирает.
Лицо моей матери в мире не повторится,
и в ветре голос ее больше не прорыдает.

Лес, ставший пеплом, сто раз обновится, рожая,
и сто раз деревья падут и наново встанут.
Я паду, чтоб больше не встать во дни урожая,
со мной все родные на дно долгой ночи канут.

И вот как будто плачу я долг целого рода,
как улей, гудит и стонет моя грудь от горя.
Живу в каждом часе всей жизнью и всей природой,
а горечь течет и уходит, как реки в море.

Мои мертвецы глядят на закат опаленный
с безумной тоскою и слепнут со мною вместе.
Губы мои запеклись в мольбе иступленной:
прежде чем замолчу, прошу пощады для песни.

Я сеяла не для себя, не затем учила,
чтоб в последний час склонилась любовь надо мною,
когда из тела уйдут и дыханье и сила,
и легкий саван я трону тяжелой рукою.

Я чужих детей воспитала; песня мне ближе
брата была; лишь к тебе поднимала я очи,
отче наш, иже еси на небесех! Прими же
нищую голову, если умру этой ночью!

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Когда, как сад, я потеряла
все то, что жизнью называла,
и только пепел позади, —
волшебную мне дали гору,
и реку, и вечерний шорох,
чтоб кровь сочилась из груди.

Детей держу я на коленях,
детей веселых и весенних,
и плакать не перестаю:
в моих мечтаньях самых лучших
со мною сын мой неразлучен,
в слезах я грудь ему даю...

Смотрю на этот мир и знаю,
что был бы он земли хозяин,
любви и снов;
но не коснулась я руками
ни пуха над его висками,
ни ноготков.

Весь день брожу я без дороги,
а на руках — еще безрогий
теленочек пальцы мне сосет:
ведь пахну я землей, садами,
травой, цветами, и плодами,
и сотами, где зреет мед.

Я — водопад, гора, долина,
я — виноград и куст жасмина,
вся — синева, вся — белизна.
Меня господь — я часть природы —
хранит от ветра непогоды,
как нежное цветенье льна.

Зимою снег пойдет; придется
уйти от старого колодца, —
скует и кровь и воду лед.
В тиши, без слов, любовь живая,
как будто почку раскрывая,
по ветру сердце разольет.

СПОКОЙНЫЕ СЛОВА

На середине дороги мне снится
истина та, что свежее цветка:
жизнь — это золото сладкой пшеницы,
ненависть — миг, а любовь — на века.

Стих, полосатый от желчи и крови,
сменим на стих, где улыбка поет.
Дивно фиалки цветут, и с верховий
ветер дыхание меда несет.

Ныне не только молящихся бденье,
песни рожденье могу я понять.
Жажда тяжка, тяжело восхожденье,
ирис зацвел — и ты счастлив опять.

Наши глаза набухают слезами,
встретим ручей — и улыбка взошла;
жаворонок взмлет с песней над нами —
мы забываем, как смерть тяжела.

Нет ничего, что томило б тоскою.
Я полюбила, и кончился стон.
Взгляд моей матери снова со мною.
Чувствую: бог уготовил мне сон.

ЖИЗНЬ

«МЫСЛИТЕЛЬ» РОДЕНА

На руку грубую склонившись головою,
Мыслитель думает: червей добыча он;
и сам он гол, как червь, лицом к лицу с судьбою;
он ненавидит смерть, был в красоту влюблен.

Он был влюблен в любовь весною огневою,
но гибнет осенью от правды и тоски.
На лбу стоит печать: «Ты смертен», — и ночью
тревогой схваченный, он в бронзе взят в тиски.

От боли мускулы сжимаются все туже,
морщины вырезал и свел в гримасу ужас.
Как лист осенний, весь он сжался: милосердья

не знает грозный зов... И вот ни сук горящий,
ни лев израненный не корчатся так в чаще,
как этот человек, чья мысль одна — о смерти.

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Твое лицо, как тень, на дни мои ложится.
Ты в синей кофточке, и щеки обгорели.
Была ребенком я в краю, где мед струится,
а ты за плугом шла, взрыхляя новь в апреле.

В трактире пил вино из грязного бокала
мужчина пьяный тот, что дал тебе ребенка,
и память о стыде тебя огнем сжигала,
но зерна из руки лились струею тонкой.

Когда пришел январь, ты хлеб для сына жала,
а я тебя в тоске глазами провожала,
ты в дымке слез моих была еще чудесней.

Грязь на ногах твоих я целовать готова:
у светских женщин нет нигде лица такого;
доныне тень твою я провожаю песней.

РЕБЕНОК ОСТАЛСЯ ОДИН

Услышав тихий плач, свернула я с дороги,
и увидала дом, и дверь его открыла.
Навстречу — детский взгляд, доверчивый и строгий,
и нежность, как вино, мне голову вскружила.

Запоздывала мать — работа задержала;
ребенок грудь искал — она ему приснилась —
и начал плакать... Я — к груди его прижала,
и колыбельная сама на свет родилась.

В окно открытое на нас луна глядела.
Ребенок спал уже; и как разбогатела
внезапно грудь моя от песни и тепла!

А после женщина взбежала на крыльцо,
но, увидав мое счастливое лицо,
ребенка у меня она не отняла.

ПЫТКА

Уж двадцать лет, как в грудь мою вложили —
ее рассек кинжал —
огромный стих, встающий, словно в море
девятый вал.

Я покорилась, но его величье
меня лишает сна.
Устами жалкими, что лгали прежде,
я петь должна?

Слова людей и немощны и смертны,
нет жара в них,
как в языках его огня и в искрах
его живых.

Кормясь моею кровью, как ребенок,
он всю меня связал,
но ни один ребенок столько крови
у женщины не взял.

Ужасный дар! От этой пытки впору
 всю ночь кричать!
О, пощади, вонзивший стих мне в сердце, —
 позволь молчать!

ВЕРУЮ

Верую в сердце свое, — как пахучую ветку,
бог его в шумной листве осторожно качает.
Жизнь ароматом любви наполняя, он сердце
благословляет.

Верую в сердце свое; ничего мое сердце не просит:
к высшей мечте подняться оно дерзает.
Этой мечтой обнимает оно мирозданье,
как полноправный хозяин.

Верую в сердце свое, что, песню слагая,
кажется в жизнь, как в целебный бассейн,
погруженным;
раны омыв, из бассейна выходит
оно возрожденным.

Верую в сердце свое, что, как знамя, по воздуху
плещет:
жизнью его одарил тот, кто море приводит в движенье.

Жизнь дирижирует им, словно целым оркестром,
вечный прибор — его пенье.

Верую в сердце свое; я его выжимаю,
чтобы окрасить холсты этой жизни надеждой
в красный, в розовый цвет; и стала холстина
алой одеждой.

Верую в сердце свое, что во время сева
но борозде бесконечной разбросано было тревожно.
Это — сосуд; его можно разбить, опрокинуть,
сжечь — невозможно.

Верую в сердце свое; кормиться им черви не будут:
смерть одолеет оно у земного порога.
Верую в сердце свое, что склонилось на лоно
грозного, мощного бога.

Ищу молитву для этого бога больного, —
из праха земного не возносилась такая:
«Тебя ни о чем не прошу, со мной твое слово,
о да, ты велик, но душа у тебя больная».

КОЛЮЧИЙ КУСТАРНИК

По скале украдкою раскинул
судорожные свои скачки;
не растение — дух самой пустыни,
скрюченный от солнца и тоски.

Дуб красив, как будто он — Юпитер,
мирт — Нарцисс, дождавшийся венца.
Он похож скорее на Вулкана,
бога-труженика, кузнеца.

Не как тополь, светлый и тенистый,
сделан он без кружев и резьбы,
чтоб душа прохожего не знала
ни его печали, ни судьбы.

Космы, все в шипах, цветы рожают.
(Так у Иова рождался стих.)
Он уродлив и прекрасен, словно
прокаженного восторг настиг.

Но хотя его дыханье в полдень
в воздухе горячем разлито,
никогда еще на этих космах
не качалось нежное гнездо.

Он сказал мне, что меня он знает,
что однажды в ночь моих скорбей
миллион шипов его вонзилось
в каждый уголок души моей.

Как сестра, его я обласкала, —
Иова ласкала б так Агарь;
так отчаянье с отчаяньем — подруги,
так друзья — пожарище и гарь.

ТУЧКАМ

Тюлевые тучки,
легкий хоровод,
унесите душу
в синий небосвод,

далеко от дома,
где страдаю я,
и от стен, в которых
умираю я.

Ненароком к морю
с вами уплыву,
чтоб напев прибоя
слушать наяву,
и волну сestroю
в песне назову.

Мастерицы лепки,
вылепите мне
облик тот, что время
плавит на огне.

Без него стареет
сердце и во сне.

Страницы, оставьте
на судьбе моей
след воздушно-влажный
свежести морей.
Иссушила губы
жажда стольких дней!

ГОРА НОЧЬЮ

Зажжем огни в горах и на вершинах!
Глухая ночь спустилась, дровосеки!
Она не выпустит светил на небо.
Зажжем огни, поднимем свету веки!

Сосуд с горящей кровью пролил ветер
на Западе, — коварная примета!
И если мы вокруг костра не встанем,
нас одурманит ужас до рассвета.

Похож далекий грохот водопадов
на скачку бешеных коней неутомимых
по гребню гор, а шум другой, ответный,
встает в сердцах, предчувствием томимых

Ведь говорят, что лес сосновый ночью
с себя оцепененье отряхает;
по странному и тайному сигналу
он по горам медлительно шагает.

На снежную глазурь во тьме ложится
извилистый рисунок: на погосте
огромной ночи бледною мержкой
мерцает лед, как вымытые кости.

Невидимая снежная лавина
к долине беззащитной подползает;
вампиров крылья равнодушный воздух
над пастухом уснувшим разрезают.

Ведь говорят, что на опасных гребнях
ближайших гор есть хищник небывалый,
невиданный: как древоточец, ночью
грызет он гору, чтоб создать обвалы.

Мне в сердце проникает острый холод
вершины близкой. Думаю: быть может,
сюда, оставив город нечестивый,
приходят мертвецы, чей день не дожит.

Они ушли в ущелья и овраги,
не знающие, что такое зори.
Когда ночное варево густеет,
они на гору рушатся, как море...

Валите сосны и ломайте ветки,
и пусть огни бегут с горы, как реки;
вокруг костра тесней кольцо сожмите, —
так холодно, так страшно, дровосеки!

ВЕРШИНА

Вечерний час, он кровью неизменно
окрашивает горы.

Страдает кто-то; женщина теряет,
сходя с ума от горя,
все то, что в этой жизни ей служило
единственной опорой.

Есть где-то сердце, чьею кровью вечер
вершину эту полил, как водою.

Полна уже долина
теньями, тишиною,
но смотрит снизу, как пылает
вершина над рекою.

Печальную одну и ту же песню
я запеваю в этот час несмело.
Не от моей ли крови
вершина заалела?

На сердце руку я кладу и слышу:
оно ушло из тела.

ЗВЕЗДНАЯ БАЛЛАДА

Звезда, я печальна.
Есть души такие
на родине дальней?
— Есть души печальней.

Звезда, ты видала,
чтоб так одинока
другая бывала?
— Конечно, видала.

Я плачу. Страшнее
ты видела слезы?
От них я немею.
— Есть слезы страшнее.

Чье ж сердце печальней
и так одиноко
на родине дальней?

— Мое. Я лучами
весь мир восхищаю,
а свет стал слезами.

МЕДЛЕННЫЙ ДОЖДЬ

Вода грустна, боязлива,
как будто ребенок хилый;
еще не упав на землю,
теряет силы.

Притихли деревья и ветер,
и вот в потрясенном молчанье
текут эти горькие слезы
страданья.

Как сердце огромное, небо
наполнила горечь живая.
Не дождь, а кровотечение
по каплям, без края.

В домах, за столами, люди
не чувствуют горечи этой —
явления печальной влаги
из царства света.

Усталого, без перерывов,
явления воды побежденной
к Земле и чужой, и жалкой,
и сонной.

Вода спокойна, безвольна,
вода молчалива, как тени,
как легкие тени печали
из сновидений.

Дождит... и ночь караулит
в ущелье шакалом гнева.
Что ж извергнет во тьме и дожде
земное чрево?

Вы будете спать, покамест
не знающая милосердья
на Землю падает влага —
сестра Смерти?

СОСНОВЫЙ БОР

Бор сосновый, от ветра
чуть скрипя, напевает:
колыбельною песней
мое горе качает.

Спокойные сосны,
вы, как мысли, прямы;
усыпите горе,
усыпите память.

Убийцу-память
усыпите без шума;
вы так же, как люди,
умеете думать.

Высокие сосны
ветер тихо качает.
Спи, воспоминанье,
спи, горечь немая!

Бор сосновый гору
пологом одевает.
Гак большая любовь
всю жизнь закрывает.

Ничего не оставив,
чем бы ни завладела,
так любовь затопляет
и душу и тело.

Была гора на заре
розовой землю,
но сосны закрыли
ее чернотю.

(Как розовый холмик,
душа была прежде;
а любовь ее одела
черной одеждой.)

Отдыхает ветер,
и бор замолкает;
так молчит человек,
когда сердце страдает.

И думают сосны,
черны и огромны,
как некто, с печалью
мира знакомый.

Бор сосновый, думать
с тобой не должна я:
боюсь припомнить,
что я — живая.

Нет, нет, не молчи,
дай уснуть в твоём шуме;
не молчи, словно люди,
погруженные в думы!

ПЕСНИ СОЛЬВЕЙГ

I

Земля нежнее губ людских, как будто
она тебя еще не отпускала.
Во все концы расходятся дороги...
Мой вечный друг, я ждать не перестала.

Смотрю, как воды времени проходят,
плывет судьба в беспомощной тревоге.
Мой старый друг, я ждать не перестала.
Во все концы расходятся дороги...

Ты ранил сердце, и оно трепещет;
ты в нем — вино в забытом старом роге.
Я глаз не отвожу от горизонта.
Во все концы расходятся дороги...

Господь меня в твоих объятьях видел,
и если я умру, меня он встретит
и спросит, где ты, где ты задержался?
Он спросит — что же мне ему ответить?

Устала я, а в глубине долины
удары заступа печально-строги.
Мой старый друг, я ждать не перестану.
Во все концы расходятся дороги...

II

Сосны, сосны закрыли
всю гору собою.
К чьей груди любимый
приник головою?

Спускаются кротко
к ручью ягнята.
С чьих уст пьет он ласку,
как с моих когда-то?

Захочет ветер, —
ель клена коснется;
но с детским плачем
он в грудь мою бьется.

Тридцать лет, как жду я
в дверях, на пороге.
Сколько снега ложится
на пути, на дороги!

III

За черной тучей спрятано полнеба,
и, плача, ветер в соснах бьет тревогу;
земля уже закрыта черной тучей;
отыщет ли Пер Гюнт свою дорогу?

Слепая ночь ложится на равнину,
над пропастью заносит путник ногу;
слепая ночь мои глаза затопит;
отыщет ли Пер Гюнт свою дорогу?

Безмолвен снег; все чаще, гуще хлопья;
он все замел, — не подойти к порогу;
он погасил уже огни пастушьи;
отыщет ли Пер Гюнт свою дорогу?

ЧУЖЕСТРАНКА

Есть в речи отзвук варварского моря,
и водорослей скрип, и ночь глухая;
и невпопад она молитву шепчет,
старея вдруг и словно умирая.
В саду — он сразу стал каким-то странным —
разводит кактусы, вьюнки и травы;
а дышит, задыхаясь, как в пустыне,
как будто ей любовь была отравой.
Не скажет, где жила и как страдала,
а если б рассказала нам об этом,
нам показалось бы, что видим карту
другой звезды с другим горячим светом.
И будет жить десятки лет меж нами,
как будто только что стучалась в двери,
заговорив на языке гортанном,
который понимают только звери.
В свою судьбу, как в саван завернувшись,
не поборов своей давнишней раны,
она умрет средь нас однажды ночью
безвучной смертью, смертью чужестранной.

ВОДА

Есть страны, — я их вспоминаю,
как вспоминаю детства годы:
там было море, были реки,
луга, лагуны, поймы, воды.
Над Роною моя деревня:
езде река, везде цикады;
Антильский остров: всюду море,
и пальмы мне и морю рады;
скала в Лигурии и море —
Италия, моя отрада!

И бросили меня в страну,
где белый цвет поспорил с красным, —
в страну безводную, без рек;
грешили здесь иные расы
грехом братоубийства алым;
о них рассказывает глина.
Она от засухи рождалась,
без влаги нежной и невинной;
я слушаю — в ответ ни звука,
пройду — и взгляда мне не кинет.

Хочу вернуться к землям детства,
в край многоводный чистой ласки;
состарюсь на большом лугу,
реке рассказывая сказки.

Как мать моя, спущусь под вечер
к источнику на скользких скалах
и наберу в кувшин воды,
спешащей, грубой, одичалой.

Дыхание мне перехватит
вода живая, ледяная;
сломается кувшин; а я, —
я снова стану молодая.

БОЖЕСТВЕННАЯ ПАМЯТЬ

Звезду мне подарите
и обнаженной в руку положите,
но сжать ее в руке я не сумею,
чтоб защитить и радость и доверье.
В краю, откуда я,
неведомы потери.

Найдите для меня пещеру,
похожую на плод и на химеру
под куполом пурпурным, золоченым,
чтоб взгляд от изумленья стал бездонным, —
ни для змеи, ни для дневного света
я не закрою двери:
в краю, откуда я,
неведомы потери.

Корабль мне дайте у причала,
корабль из темного пахучего сандала,
готовый всей земле отдать благоуханье,
унять ветров порывистых дыханье, —

любому берегу корабль доверю:
в стране, откуда я,
неведомы потери.

Звезду живую я в руках держала
и, как закат широкий, вся пылала.
Была пещера у меня; висело
в ней солнце, день не знал предела.
Я не хранила их, я не могла понять,
что можно их любить и взаперти держать.
В их прелести спокойно я спала,
и сладость их без дрожи я пила.

Их потеряла я, в их смерть не веря:
в краю, откуда я,
душа вечна, и ей
неведомы потери.

ВОЗДУХ

В поле, где шалфей и мята
где земля в цветах, как в звездах,
словно ждал, меня встречает
Воздух.

Круглый, вертится, как голый
расшалившийся проказник,
словно с матерью играет,
шутит, дразнит.

То берет меня в объятия
с ласковой своей сноровкой,
то закручивает платье,
как веревку.

Как змея, шипит на ветках,
листья в чаще отряхает
или у меня дыханье
отнимает.

Папоротникам и крыльям
не дает он запылиться;
у него свои растенья,
птицы.

Я тянусь к нему руками,
и ловлю, и догоняю;
он меня мельканьем быстрым
ослепляет.

И касаюсь, не касаясь,
и ловлю — рука пустая;
он смеется, новой шуткой
одаряя.

Я иду назад по рощам,
по дубовой, по сосновой,
гонится за мною Воздух
снова.

В дом свой каменный вхожу я,
от волос прохладой веет:
как хмельные, как чужие,
тяжелеют.

Непокорные, не могут
на подушке поместиться;
чтоб уснуть, должна я с ними
повозиться.

Должен он прилечь сначала
великаном-альбатросом
или снастью, что спустили
трос за тросом.

Если волосы утихнут,
засыпаю утром, поздно:
так измучил мать ребенок —
Воздух.

ДРУГАЯ

Ее в себе я убила:
ведь я ее не любила.

Была она — кактус в горах,
цветущий пламенем алым;
была лишь огонь и сухость;
что значит свежесть, не знала.

Камень и небо лежали
в ногах у нее, за спиною;
она никогда не склонялась
к глазам воды за водою.

Там, где она отдыхала,
травы вокруг поникали, —
так жарко было дыханье,
так щеки ее пылали.

Смолою быстро твердела
ее речь в любую погоду,
чтоб только другим не казаться
отпущенной на свободу.

Цветок, на горах растущий,
сгибаться она не умела,
и рядом с ней приходилось
сгибаться мне то и дело...

На смерть ее обрекла я,
укравав у нее мою сущность.
Она умерла орлицей,
лишенной пищи насущной.

Сложила крылья, согнулась,
слабея внезапно и быстро,
и на руку мне упали
уже погасшие искры.

Но сестры мои и поныне
все стонут по ней и скучают,
и пепел огня бывшего
они у меня вырывают.

А я, проходя, говорю им:
— В ущелья вам надо спуститься
и сделать из глины другую
пылающую орлицу.

А если не можете, значит
и сердце помнить не может.
Ее в себе я убила.
Убейте вы ее тоже!

ГОСПОЖА ОТРАВА

Живет госпожа Отрава
в двух шагах от нашего дома.
и дань она собирает
с дорог, садов, водоемов,
и эту дань мы ей платим,
но жадность ее неумна.

Зачем пришла издалека,
если всем сует свою душу, —
умирающим, новорожденным,
тем, кто в море и кто на суше?
Много дней у нее за спиною, —
не устанет сама себя слушать.

Если всем сует свою душу,
зачем пришла издалека?
Ей бы душу бросить в пустыне
кактусом одиноким
или в море найти другую —
без желчи и злой мороки.

Зачем в страну пальм явилась
все та же, с той же заразой?
О ней говорят мне, приносят
ее каждый день в рассказах,
но я ее не видала,
она кажется мне безглазой.

Каждый день вступаю в знакомство
с новым деревом, с редким зверем
и со всем, что живет и приходит
к моей незапертой двери.

Но как чужестранку выгнать,
если я ее не видала?
А если войти ей позволить,
что тогда бы с покоем стало,
что стало б с моим достоянием —
с моим деревцом одичалым?

Все спрашивают меня,
приходила ли фея злая,
и потом говорят: «Это хуже,
когда свой приход замедляет...»

ОДНО СЛОВО

Застряло в горле слово, — на свободу
не выпущу его, себе оставлю,
хотя оно во мне как сгусток крови.
А выпустить — сожжет живое поле,
убьет ягненка, птицу кинет наземь.

Я выплюнуть его должна и спрятать;
найти дыру, прорытую бобрами;
и белой известью залить его,
чтоб, как душа, оно не полетело.

Я не хочу, чтоб знали, что живу я,
пока оно в крови отравой бродит
то вверх, то вниз — с, моим дыханьем диким.
Хотя его, сказал отец мой Иов,
мой бедный рот сказать его не должен:
оно покатится и у реки
запутается в косах женщин или
согнет и подожжет кустарник бедный.

Я брошу на него такие зерна,
чтоб за ночь выросли и задушили

и не оставили ни букв, ни звуков.
А может быть, прикончу, как гадюку,
когда ей надвое хребет ломают.

Потом вернуться в дом, войти, заснуть
и знать: оно отрезано бесследно.
Проснуться через много сотен дней,
во сне, в забвенье наново родившись.

Не знать, что было на губах моих
из йода и квасцов такое слово,
забыть ту ночь, единственную ночь,
забыть тот дом, тот дом в чужой стране,
забыть, как я ждала луча у двери,
не знать, что без души осталось тело!

ТАНЦОВЩИЦА

Танцовщица сейчас танцует танец
непоправимой роковой потери.
Бросает все, что было у нее:
родных и братьев, сад и луговину,
и шум своей реки, и все дороги,
рассказы очага и детства игры,
черты лица, глаза и даже имя,
как человек, который тяжесть сбросил
и со спины, и с головы, и с сердца.

Пронизанная светом дня и солнцем,
смеясь, она танцует на обломках.
Весь мир проветривают эти руки:
любовь и зло, улыбку и убийство,
и землю, залитую жатвой крови,
бессонницу пресыщенных и гордых,
и жажду, и тоску, и сон бездомных.

Вез имени, без нации, без веры,
от всех и от себя самой свободна,
полетом ног за жизнь и душу платит.

Дрожа тростинкою под ураганом,
она — его свидетельство живое.

Не альбатросов взлет она танцует,
обрызганный игрою волн и солью;
не сахарного тростника восстанье,
сраженное кнутами и ножами;
не ветер — подстрекатель парусов —
и не улыбку трав высоких в поле.

Ее крестили именем другим.
Свободная от тяжестей и тела,
она вложила песню темной крови
в балладу юношества своего.

Не зная, ей бросаем наши жизни,
как красное отравленное платье.
Танцует, а ее кусают змеи;
они ее возносят и швыряют,
как будто знамя после поражения,
как будто разоренную гирлянду.

Что ненавидела, в то превратилась;
танцует и не знает, что чужда нам;
проветривает маски и гримасы
и, нашею одышкой задыхаясь,
глотает воздух — он не освежает, —
сама, как вихрь, одна, дика, чиста.

Мы виноваты в этой злой одышке,
в бескровной бледности, в немом укоре, —
он обращен на Запад и Восток.
Мы виноваты в том, что душно ей
и что она навек забыла детство.

НАБОЖНОСТЬ

Я к сторожу на маяке
хочу подняться тропкой тесной,
узнать, как солоня волна,
в глазах его увидеть бездну.
К нему дойду я, если жив он,
старик просоленный, железный.

Как говорят, глядит отшельник
лишь на Восток, — но бесполезно.
Загорожу его от моря,
пусть взглянет на меня, не в бездну.

Он знает все про эту ночь —
мою дорогу без названья.
Он знает спрутов, и буруны,
и крик, лишающий сознанья.

Прилив покрыл его плевками,
но все ж он высится над пляжем.
Освистан чайками и бел,
как раненый солдат на страже,

он нем, отсутствует, недвижим,
как будто не родился даже.

Но к башне маяка упрямо
иду обрывистой тропой.
Пусть мне старик откроет все
божественное и земное.
Ему кувшинчик молока,
глоток вина несу с собою...

А он все слушает на башне
морей самовлюбленных пенье.
А если ничего не слышит,
покрытый солью и забвеньем?

ПЕСНЬ, КОТОРУЮ ТЫ ЛЮБИЛ

Пою ту песнь, что ты любил, о жизнь моя,
чтоб ты приблизился и слушал, жизнь моя;
чтоб ты припомнил жизнь, — она была твоя, —
пою я в сумерках, родная тень моя.

Я не хочу сейчас замолкнуть, жизнь моя.
Без крика моего как ты найдешь меня?
Что скажет обо мне вернее, жизнь моя?
Я та же, что была когда-то, жизнь моя.
Я но потеряна, не позабыта я.

Приди, приди ко мне под вечер, жизнь моя.
Приди, припомнив песнь, что раньше пела я.
Ты узнаешь ее, скажи мне, жизнь моя?
Ты имя не забыл, которым звал меня?

Что время для меня! Всегда я жду тебя.
Ты не страшись ночей, тумана и дождя.
Приди дорогою, а хочешь — через луг.
Где б ни был, позови меня, о жизнь моя,
и напрямик иди, иди ко мне, мой друг!

МИНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

Я подстригаю маленький миндаль
рукою чистой и неуязвимой;
вот так касаются щеки любимой,
когда глаза глядят, не видя, вдаль;

вот так рождается мой точный стих,
в котором кровь живую оставляю;
так сердце я раскрыться заставляю,
чтоб билась кровь весны в словах моих.

Биенье веткам грудь передает;
миндаль впервые в жизни узнает
чужое сердце, как резец и лиру.

Вы, полюбив, меня теряли вдруг,
и в дереве живущий сердца стук —
единственное, что даю я миру.

ДУШИСТЫЙ ХОРОВОД

Ромашка с желтым сердцем,
душистый барбарис,
и белоснежный ландыш,
и взбалмошный анис

танцуют торопливо
под солнцем и луной,
качая стебель гибкий,
качая головой.

Их ветер рвет и треплет,
их раскрывает зной,
река им рукоплещет
певучею струей.

Когда расти повсюду
велела им земля,
«да, да! — сказал ей каждый, —
отдай ты нам поля!»

И подорожник к мяте
прижался головой,
и обвенчался лютик
с куриной слепотой.

С безумцами давайте
сплетем мечты свои!
Ведь пять недель, не больше,
у них огонь в крови,
и гибнут не от смерти,
а гибнут от любви!

ПАПОРОТНИК

Цветок бессмертный, столистый,
пылающий, как головня,
никем не посеян, не полит
зывается «цветок огня».

Сорви его и дари
в Иванову ночь до зари.

Бежит со скоростью лани,
мелькая, блестя, дразня;
цветет глубокою ночью
внезапный цветок огня.

Сорви его и дари
в Иванову ночь до зари.

Цветок на нетронутой нови,
вокруг — ни куста, ни пня;
любовь его здесь — земная,
на небе — его родня.

Сорви его и дари
в Иванову ночь до зари.

От зверя и страха в помощь
его лесорубы хранят.
Он призраков убивает —
летучий цветок огня.

Сорви его и дари
в Иванову ночь до зари.

Ты — мой огонь, так гори же,
другого нет у меня.
Как много любви он дал нам —
опавший цветок огня.

Сорви его и дари
в Иванову ночь до зари.

СМЕРТЬ МОРЯ

Как-то ночью умерло море,
словно жить в берегах устало,
все сморщилось, все стянулось,
как снятое покрывало.

Альбатросом в пьяном восторге
или чайкой, что жизнь спасала,
до последнего горизонта
на девятом вале умчалось.

И когда обворованный мир
открыл глаза на рассвете,
оно стало сломанным рогом:
кричи — ни за что не ответит.

И когда рыбаки решились
на уродливый берег спуститься,
был весь берег смят и взъерошен,
словно загнанная лисица.

Было так велико молчанье,
что оно нас всех угнетало,
и казалось, высится берег,
словно колокол, сломанный шквалом.

Где боролся с ним бог и оно
под его хлыстами рычало
и прыжками оленя в гневе
на удары его отвечало;

где соленые губы сливались
в молодом любовном волненье,
где танцы в кругу золотом
повторяли жизни круженье,

там остались одни ракушки,
блеск скелетов мертвенно-белый
и медузы, что вдруг оказались
без любви, без себя, без тела.

Там остались призраки-дюны,
словно пепел и словно вдовы,
и глядели в слепую пустыню,
где не будет радости новой.

И туман, перо за пером
ощупывая со стоном,
над мертвым большим альбатросом
стоял, словно Антигона.

Глядели глазами сирот
устья рек, утесы и скалы
в холодный пустой горизонт, —
их любовь он не возвращал им.

И хоть морем мы не владели,
как подстриженною овечкой,
но баюкали женщины ночью
его, как ребенка, у печки;

и хоть в снах оно нас ловило
всеми щупальцами осьминога
и утопленников то и дело
прибивало оно к порогу, —

но, не видя его и не слыша,
мы медленно умирали,
и наши иссохшие щеки
ввалились от горькой печали.

За то, чтоб увидеть, как мчится
быком одичалым на гравий,
разбрасывая раздраженно
медуз и зеленые травы;

за то, чтоб оно нас било
просоленными крылами,
чтоб на берег рушились волны,
набитые чудесами, —

мы дали бы морю выкуп,
платили бы мы домами
и — как побежденное племя —
сыновьями и дочерями.

Как задохнувшись в шахте,
дыхания нам не хватает,
и гимны, и песни, и слово
на наших губах умирают.

Всё зовем мы его и зовем,
рыбаки с большими глазами,
и горько плачем в обнимку
с обиженными парусами.

И, качаясь на них, качаясь, —
их когда-то качало море, —
мы сожженные травы жуем —
в них вкус водяного простора —
или наши руки кусаем,
как скифы пленные в горе.

И, схватившись за руки с плачем,
когда ночь покрывает сушу,
мы вопим, старики и дети,
как забытые богом души:

«О Таласса, древний Таласса,
ты спрятал зеленую спину,
позови, позови нас с собою,
не навек же ты нас покинул!
А если ты мертв, пусть примчится
к нам ветер, безумный, как память,
пусть он нас подхватит, поднимет
и вдаль унесет с облаками:
мы снова увидим заливы,
и умрем мы над островами».

РУКИ РАБОЧИХ

Руки твердые похожи
на моллюсков оголенных;
цвета перегноя, цвета
саламандры опаленной,
руки чуткие взлетают
или никнут утомленно.

Месят глину, тешут камни,
разрыхляют почву сада,
медно-красны в белом хлопке,
треплют лен и гонят стадо,
и никто на них не смотрит,
лишь одна земля им рада.

То на молоты похожи,
то, как заступы, бесстрастны;
сумасшедшие колеса
иногда их рвут на части,
и рука, что уцелела,
узнает вдовы несчастье.

Слышу, как стучат кувалдой,
вижу — у печей пылают,
и летят над наковальней,
и зерно перебирают.

Я их видела на шахтах,
в голубых каменоломнях,
за меня гребли на лодках
по воде коварной, темной,
гроб мне сделают по мерке,
хоть меня и не припомнят...

Каждым летом ткут холстину
свежую, как вздох прибоя,
и прядут они и чешут
хлопок, шерсть — добро чужое,
и поют потом в одеждах
у ребенка и героя.

Засыпают в ранах, в шрамах,
испещренные металлом.
Свет созвездий в окна льется,
чтобы силу дать усталым.
Но во сне копать и строить,
мыть и сеять продолжают;
и Христос берет их в руки
и к груди их прижимает.

ДВЕРИ

Много я гримас видала,
в том числе — дверей гримасы.
Долго я на них смотрела:
голые, как кость без мяса,
мне показывали спину
цвета волка и лисицы.
Стоило ли двери делать,
чтоб в плену у них томиться?

Дом с закрытыми дверями —
плод, покрытый скорлупою;
дом не делится с дорогой
внутреннею теплою;
двери учат нашу песню
от прохожих запираются;
к радости не приглашают,
выпустить ее боятся.
Молодыми не бывают,
и старухами рдятся.

Двери — грустные ракушки
без песка и без прилива.

Двери — грозовая туча
над большой землей счастливой.
Прямизной они похожи
на прямые складки смерти,
я склоняюсь перед ними
как тростник, дрожащий в ветре.

«Нет!» — они твердят рассвету,
что над ними нежно блещет.
«Нет!» — твердят морскому ветру,
что над ними рукоплещет,
и дыханью свежих сосен,
и реке, что рядом плещет.
И, как древняя Кассандра,
не спасут, хотя все знают:
потому вошла свободно
в дверь судьба моя больная.

Я стучу, и вот как будто
ловит дверь меня на слове,
а просвет, сухой и жадный,
словно шпага наготове,
и взлетают створки, словно
настороженные брови.
Я вхожу и будто пятна
на лице своем скрываю;
что мой дом, как плод невскрытый,
мне готовит, я не знаю
и гадаю: избавленье
надет меня иль гибель злая.

Я хочу уйти, оставить
все, что землю закрывает,
горизонт, что от печали,

как газели, умирает,
и людские двери — втулки
бочек, где вода — чужая;
чтоб руками не касаться
их ключей, холодно-жгучих,
звона их вовек не слышать,
он как треск змеи гремучей.

Я в последний раз оставлю
двери за собой без стога,
и умчусь я, торжествуя,
птицею освобожденной
следом за родной толпою
мертвецов моих бессонных.
Наверху они, конечно,
не разделены дверями,
не оскорблены стенами,
слово раненый — бинтами.

В вечном свете, как при жизни,
будут ласковы со мною.
Вместе запоем мы песню
между небом и землею.
Этой песней дверь за дверью
расшатаем, словно ветер.
Выйдут люди в мир открытый,
как проснувшиеся дети,
услышав, как злые двери
падают на целом свете.

ПОЭМЫ
В ПРОЗЕ

ПОЭМЫ МАТЕРЕЙ

Каким он будет?

Каким он будет? Я долго смотрела на лепестки розы и с радостью потрогала их: я бы хотела, чтобы его щеки были так же нежны. И я играла с кустом ежевики, — я бы хотела, чтобы его волосы были такими же темными и вихрастыми. Но если он будет смуглым, цвета красной глины, которую любят гончары, и если у него будут гладкие волосы, такие же простые, как вся моя жизнь, то это не имеет значения.

Я смотрю на ущелья в горах, когда они наполняются туманом, и туман кажется мне силуэтом девочки, нежной девочки; ну что ж, пусть это будет девочка.

Но главное, я хочу, чтобы ребенок глядел на меня с той нежностью, с которой смотрит на меня муж, чтобы в детском голосе была та же легкая дрожь, с которой муж говорит со мной, потому что в том, кого я жду, я хочу любить того, кто целовал меня.

Вечная боль

Я бледнею, когда он страдает во мне; я больна от его толчков, и я могу умереть от одного движения того, кто во мне и кого я не вижу.

Но не думайте, будто я буду чувствовать эту боль, будто он будет привязан ко мне только до тех пор, пока он во мне. Когда он свободно пойдет по дорогам, и даже если он уйдет далеко, ветер, который будет хлестать его, будет рвать и мое тело, и крик моего ребенка сорвется и с моих губ. Мой плач и моя улыбка будут рождаться на твоём лице, сын мой!

Ради него

Ради него, спящего, как тонкая струйка воды под травой, не причиняйте мне вреда, не нагружайте работой. Простите мне всё: и недовольство едой, и ненависть к шуму.

Вы поговорите со мной обо всех домашних огорчениях, о бедности и заботах, когда я уложу его в пеленки.

Коснетесь ли вы моего лба или моей груди, он — там, и он издаст стон, словно отвечая на рану.

Образ Земли

Я прежде не видела подлинного облика Земли. Земля похожа на женщину с ребенком на руках.

Я узнаю материнский смысл вещей. Гора, которая смотрит на меня, тоже — мать, и по вечерам туман играет, как ребенок, на ее плечах и коленях.

Я вспоминаю сейчас ущелье в долине. По глубокому руслу с пением бежал поток, который закрыт

скалами и невидим. Я как это ущелье; я чувствую в своей глубине этот маленький ручей; как скала, я отдала ему свое тело, пока он не пробьется к свету.

Мужу

Муж мой, не трогай меня. Ты вызвал его из глубины моего существа, как лилию из воды. Дай мне быть такой, как спокойная вода.

Люби меня, люби меня теперь немножко больше! Я, такая маленькая, дам тебе спутника на дорогах. Я, такая бедная, дам тебе другие глаза, другие губы, чтобы ты наслаждался вселенной. Я, такая гибкая, расколуюсь от любви, как сосуд, чтобы вино жизни полилось из меня.

Прости меня! Я хожу неуклюже, я неловко подаю тебе чашку; но ведь ты сам сделал меня такой, и теперь я с трудом двигаюсь среди вещей.

Будь со мной нежней, чем когда бы то ни было. Не горячи моей крови, не волнуй моего дыхания.

Теперь я — только легкая занавеска; все мое тело — занавеска, под которой — спящий ребенок.

Мать

Моя мать пришла повидать меня; она сидела рядом со мной, и впервые в нашей жизни мы были как сестры, говорящие о страшном испытании.

С дрожью она коснулась моего живота и осторожно открыла мою грудь. Мне показалось, что от прикосновения ее рук я вся раскрылась с нежностью листьев, и теплая волна поднялась в груди.

Покраснев, полная смущения, я заговорила о моих

болях и страхе моего тела; я упала к ней на грудь; и я снова стала маленькой девочкой, которая плакала на ее руках от страха перед жизнью.

Расскажи мне, мама...

Мама, расскажи мне все, что ты помнишь о своей былой боли. Расскажи мне, как рождается ребенок, как появляется на свет его тельце, еще привязанное ко мне.

Скажи мне, он потянется к моей груди или я сама должна дать ему грудь?

Дай мне теперь твоё знание любви, мама. Научи меня новым ласкам, самым нежным, более нежным, чем ласки мужа.

Как мне мыть его головку? И как пеленать, чтобы не повредить ему?

Мама, научи меня той колыбельной, которую ты пела, укачивая меня. Она навеет на него сон лучше, чем любая другая песня.

Священный закон

Говорят, будто жизнь едва мерцала в моем теле, а мои вены излили кровь, как виноград в давальне; но я чувствую только облегчение в груди, как после глубокого вдоха.

— Кто я такая, — говорю я себе, — чтобы держать сына на своих коленях?

И сама себе отвечаю:

— Женщина, которая любила и чья любовь после первого поцелуя попросила вечности.

Земля смотрит на меня и на моего сына, которого я держу на руках, и благословляет меня, потому что я теперь плодоносна и священна, как пальмы и бороды.

ПОЭМЫ САМОЙ ПЕЧАЛЬНОЙ МАТЕРИ

Выброшенная

Мой отец сказал, что выгонит меня; он крикнул матери, что выбросит меня из дому этой же ночью.

Ночь прохладна; при свете звезд я могла бы дойти до ближайшей деревни; но что, если он родится в эти часы? Может быть, мои рыдания зовут его; может быть, он хочет появиться на свет, чтобы видеть мое лицо в слезах. И он задрожит в сыром, резком воздухе, хотя я и покрою его.

Зачем ты пришел?

Зачем ты пришел? Никто не полюбит тебя, хотя ты красив, сын мой. Хотя твоя улыбка прекрасна, как у всех детей, прекрасна, как у моего младшего брата, целовать тебя буду я одна, сын мой. И хотя твои ручонки тянутся к игрушкам, ты сможешь играть только с моей грудью и с нитями моих слез, сын мой.

Зачем ты пришел, если тот, кто призвал тебя к жизни, возненавидел тебя, почувствовав твои движения во мне?

Но нет! Ты пришел для меня; ведь я была одинока, одинока даже когда он сжимал меня в своих объятиях, сын мой!

Примечание. — Однажды вечером, проходя по жалкой улице Темуко, я увидела женщину из народа, которая сидела на пороге своего дома. Она была близка к материнству, и лицо ее отражало глубокую горечь.

Вышел мужчина и сказал ей грубую фразу, которая заставила ее покраснеть.

В эту минуту я испытала чувство женской солидарности, бесконечное сочувствие женщины к женщине, и я удалилась, думая:

«Одна из нас должна сказать (раз мужчины этого не сказали) о святости этого болезненного и божественного состояния. Если назначение искусства в том, чтобы с бесконечным состраданием все украшать, то почему же мы не очистили эго в глазах нечистых?»

Я хотела написать эти поэмы с почти религиозным чувством. Кое-кто из тех женщин, которым необходимо, чтобы быть целомудренными, закрывать глаза на жестокую, но роковую правду, дали этим поэмам низкое толкование; оно опечалило меня за них самих. Они даже требовали, чтобы эти поэмы были изъяты из книги.

В этой полной эготизма книге, значение которой в моих собственных глазах уменьшается именно эготизмом, подобная человеческая проза — может быть, единственное, где воспевается вся жизнь полностью. Надо ли было изъять из моей книги жизнь?

Нет. Эта проза остается здесь, посвященная женщинам, способным понять, что святость жизни начинается с материнства, и поэтому оно священно. Пусть они почувствуют глубокую нежность, с которой женщина, воспитывающая на земле чужих детей, смотрит на мать любого из детей мира!

МОЛИТВА УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Господь! Ты, учивший нас, прости, что я учу; что ношу звание учителя, которое ты носил на земле.

Дай мне единственную любовь — к моей школе; пусть даже ожог красоты не сможет похитить у школы мою единственную привязанность.

Учитель, сделай мое усердие постоянным, а разочарование преходящим. Вырви из моей души нечистую жажду возмездия, которая все еще смущает меня, мелочное желание протеста, которое возникает во мне, когда меня ранят. Пусть не печалит меня непонимание и не огорчает забвение тех, кого я учила.

Дай мне стать матерью больше, чем сами матери, чтобы любить и защищать, как они, то, что не *плоть от плоти моей*. Дай мне превратить одну из моих девочек в мой совершенный стих и оставить в ее душе мою самую проникновенную мелодию на то время, когда мои губы уже не будут петь.

Покажи мне, что твое Евангелие возможно в мое время, чтобы я не отказывалась от ежедневной и ежечасной битвы за него.

Озари мою народную школу тем же сиянием, которое расцветало над хороводом твоих босых детей.

Сделай меня сильной, несмотря на мою женскую беспомощность, беспомощность бедной женщины; дай мне презирать всякую нечистую власть, всякое насилие, если только оно совершится не по твоей воле, озаряющей мою жизнь.

Друг, будь со мною! Поддержи меня! Часто, очень часто рядом со мной не будет никого, кроме тебя. Когда мое учение станет более чистым, а моя правда — более жгучей, меня покинут светские люди; но ты, ты узнал беспредельное одиночество и беззащитность, и ты прижмешь меня тогда к своему сердцу. Только в твоём взгляде я буду искать сладость одобрения.

Дай мне простоту и дай мне глубину; избавь мой ежедневный урок от сложности и пустоты.

Дай мне оторвать глаза от ран на собственной груди, когда я вхожу в школу по утрам. Садясь за свой рабочий стол, я отброшу мои мелкие материальные заботы, мои ничтожные ежечасные страдания.

Пусть рука моя будет легкой, когда я наказываю, и нежной, когда я ласкаю. Пусть мне будет больно, когда я наказываю, чтобы знать, что я делаю это любя.

Сделай так, чтобы мою кирпичную школу я превратила в школу духа. Пусть порыв моего энтузиазма, как пламя, согреет ее бедные классы, ее пустые коридоры. Пусть мое сердце будет лучшей колонной и моя добрая воля — более чистым золотом, чем колонны и золото богатых школ.

И наконец, напоминай мне с бледного полотна Веласкеса, что упорно учить и любить на земле — это значит прийти к последнему дню с израненной грудью, пылающей от любви.

ПРОКЛЯТОЕ СЛОВО

После бойни 1914 года слово «мир» рвалось из уст с почти болезненной восторженностью: воздух очистился от самого тошнотворного запаха, какой есть на свете, — от запаха крови, будь то кровь убойного скота, раздавленных насекомых или так называемая «благородная человеческая кровь».

Человечество страдает хронической потерей памяти, оно уже забыло этот запах, хотя мертвецы лежат повсюду в земле злосчастной Европы. Европа отдала почти все, что было у нее, и теперь идет по пути, который ведет если не к отрицанию, то к компротации всего, что она дала.

Работать и творить можно только в дни мира, это азбучная истина, но она теряет свою убедительность, как только земля приобретает цвет военных мундиров и начинает издавать зловоние адских химических.

За этот месяц я получила четыре письма, в которых говорится почти одно и то же.

Первое: «Габриела, много вреда принесла мне единственная статья, которую я написал о мире. По

временам меня обвиняли в том, что я — подозрительный платный агент, продажный человек».

Я ответила:

«Все это мне тоже известно, друг мой, я тоже была «изгоем». Я тоже пострадала после того, как, сотрудничая двадцать лет в одной газете, я сравнила нашу связь с землей, на которой мы родились, с пуповиной, прикрепляющей нас к нашей матери. Они хотят сделать людей немыми и потому впадающими в отчаяние. День и ночь работает тайная организация удушения. И не только честный журналист должен проглотить свой язык, обвиняющий или советующий; но и тот, кто пишет книги, должен издавать их втайне, как нечто постыдное, если его книга не служит для развлечения тех, кто оглушает других, если он противится неслыханной бойне».

Другое письмо: «Сеньора, сегодня есть проклятая тема — тема мира. Можно писать о любом постыдном факте: защищать спекуляцию, бой быков, этот «праздник храбрости», который экспортирует к нам Мать-Испания, продажность наших выборов, помноженную на нищету. Но нельзя писать о мире: это — короткое слово, но оно мечет молнии или швыряет наземь, и этой запретной темы надо бояться, как короткого замыкания...»

В третьем письме говорится: «У меня нет желания писать о чем бы то ни было. Мир на земле был для меня всего дороже. Теперь единственная разрешенная для нас тема — это война. Она — «пароль и отзыв» патриотизма. Но знайте: единственное, чего хочет так называемая «чернь», «грубый народ», это чтобы ему дали работать в мире для жены и детей. У этих бедняков есть глаза, и они видят. Только ясное зрение, которое рождается у них, еще не оружие; но послушайте, что они говорят, когда радиопередатчики пыта-

ются разгорячить им кровь, чтобы они отправились на неслыханную бойню».

И последнее письмо: «Горе тем, кто все еще хочет говорить и писать *об этом*. Берегитесь клички, которую прикрепят к вам однажды. Эта кличка если не убивает, то калечит репутацию пишущего человека и по меньшей мере оставляет на нем огненное клеймо. На вашего друга уже смотрят косо.

Слово «мир» — проклятое слово. Вы помните, конечно: «Мир мой да будет с вами». Но Иисус Христос не в моде, его слово уже «не к лицу». Вы можете плакать. Вы — женщина. Я не плачу; мне стыдно, стыд жжет мое лицо. Ведь у нас была Лига наций, а потом ООН, чтобы покончить с этим человеческим банкротством.

Что же, закрывая нам доступ в газеты и журналы, они хотят, чтобы мы, как лунатики, говорили, прячась за углом? Я ловлю себя на том, что, как в бреде, повторяю данные о том, сколько людей может быть убито сразу...»

(Среди моих четырех корреспондентов нет ни одного коммуниста.)

Я мало что могу прибавить к этому. Только включить в свою статью. Все вышесказанное выражено очень хорошо; это написано людьми образованными, людьми среднего класса, и это слова, в которых нет уклончивости, приспособленчества или хитрости; эти жгучие слова начали свой полет над нашей Америкой. Мы говорим: «Довольно! Довольно убийств!»

В Уругвае с его верностью, в Чили с его реалистическим подходом, в Коста-Рике, где так много читают, есть немало людей, которые видят правду. То, что хотели бы выдать за случайность, за ошибку, превращается в наваждение.

Есть слова, которые тем громче, чем больше их заглушают, громче именно благодаря гонению и удушению, и слово «мир» доходит даже до людей глухих и невнимательных. Потому что в конце концов христиане всех толков, от католиков до квакеров, должны, и как можно скорее, вспомнить, что именно это слово, вычеркиваемое из газет, загоняемое в угол, этот единственный слог, который находится под запретом, словно непристойность, чаще всего повторяется в Священном писании, повторяется с настоящей одержимостью.

Надо провозглашать его день за днем, чтобы нечто от божественной заповеди реяло в воздухе, плавало по морю, как утлая ладья на волнах царящего язычества.

Будьте смелы, друзья мои. Пацифизм — не сладенькое желе, как думают некоторые; мужество превращает его в действенное убеждение, и это убеждение не может находиться в статичном состоянии. Будем произносить это слово ежедневно, где бы мы ни находились, где бы ни проходили, пока оно не станет плотью и кровью и не создаст воинствующего братства мира, которое очистит тяжелый, грязный воздух.

Призывайте же мир вопреки всем ветрам и бурям, хотя бы вам пришлось на три года потерять всех друзей. Положение изгоя тяжело, одиночество обычно производит странный шум в ушах, который слышишь, спускаясь в пещеры или... в катакомбы. Пусть это не останавливает вас, друзья: надо бороться!

ПРИМЕЧАНИЯ

АМЕРИКА

Гимн тропическому солнцу. — Индейцы поклонялись солнцу как божеству.

Инки, майя, аймара, кечуа — индейские племена.

Куско — департамент в Перу.

Майяб — индейское название полуострова Юкатан.

Кетсаль — редкая птица в Центральной Америке, эмблема Гватемалы.

Кетсалькоатль — одно из имен солнца.

Птица Рок — сказочная птица.

«*Как пирамиды-тезки камень...*» — Пирамида «Солнце» — древний храм в Мексике.

Магей — разновидность агавы.

Земля Чили. *Льянкиуэ* — озеро в Чили.

Шинишлла — пушной зверек с очень ценным мехом; водится в Южной Америке.

Мексиканская сосна. *Аризона* — штат в США.

Хоровод вокруг эквадорской сейбы. *Сейба* — дерево, произрастающее в Южной Америке.

Аргентинский хоровод. *Месопотамия*. — Так часто называют аргентинскую провинцию Энтре Риос.

Пить! *Рио-Бланко* — буквально: «Белая река» — река в Чили.

Аконкагуа — высокогорный вулкан в Чили.

Митла — местечко в Мексике, где находятся развалины индейского города.

ДЕТСТВО

Передоверие. *Цикута* — ядовитое растение.

ЖИЗНЬ

«Мыслитель» Родена. *Роден* Огюст (1840—1917) — французский скульптор; «*Мыслитель*» — одно из самых известных произведений Родена.

Сильная женщина. «*Когда пришел январь, ты хлеб для сына жала...*» — Чили находится в южном полушарии, январь соответствует там нашему июлю.

Колючий кустарник. «*Иова ласкала б так Агарь...*» — по Библии, невольница Авраама, изгнанная в пустыню.

Вода. *Рона* — река во Франции.

Одно слово. «*Хотя его сказал отец мой Иов...*» — По библейской легенде, бог послал Иову жесточайшие испытания.

Смерть моря. *Таласса* — море (древнегреческ.).

СОДЕРЖАНИЕ

О. Савич. Габриела Мистраль	5
-----------------------------	---

АМЕРИКА

Гимн тропическому солнцу	19
Земля Чили	
Вулкан Осорно	24
Водопад на Лахе	26
Пейзаж Патагонии	28
Мексиканская сосна	30
Хоровод вокруг эквадорской сейбы	32
Аргентинский хоровод	34
Кубинский хоровод	36
Уругвайская пшеница	38
Пить!	39

ДЕТСТВО

Ножки	43
Ручки	45
Белые облака	47
Идет снег	49
Сажая дерево	51
Гимн дереву	53
Мольба о гнезде	56
Донья Весна	58
Бросай в землю семя!	60
Лето	61
Деду Морозу	63
Детские хороводы	65

Земля	67
Все мы будем королевами...	69
Чтобы петь, когда ищут спрятанный предмет	
Беспалая	72
Соринка	73
Крыса	73
Передоверие	75

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ

«Ночь темна и бесприютна...»	79
Качая колыбель	80
Ночь	81
Печальная мать	82
Кротость	83
Страх	84
Роса	86
Находка	88
Земля и женщина	89
Моя песнь	91

БОЛЬ

Встреча	95
Любовь — владыка	97
Молчащая любовь	99
Так хочет бог	100
Бессонница	103
Стыдливость	104
Баллада	105
Горе	107
Ноктюрн	109
Сонеты смерти	111
Напрасное ожидание	114
Одержимость	116
Увидеть его снова	118
Фонган	119
Ваза	120
Поэма о сыне	121
Просветление	125
Спокойные слова	127

ЖИЗНЬ

«Мыслитель» Родена	131
Сильная женщина	132
Ребенок остался один	133
Пытка	134
Верую	136
Печальный бог	138
Колючий кустарник	140
Тучкам	142
Гора ночью	144
Вершина	146
Звездная баллада	147
Медленный дождь	148
Сосновый бор	150
Песни Сольвейг	153
Чужестранка	156
Вода	157
Божественная память	159
Воздух	161
Другая	164
Госпожа Отравы	166
Одно слово	168
Танцовщица	170
Набожность	172
Песнь, которую ты любил	174
Миндальное дерево	175
Душистый хоровод	176
Папоротник	178
Смерть моря	180
Руки рабочих	184
Двери	186

ПОЭМЫ В ПРОЗЕ

Поэмы матерей	191
Поэмы самой печальной матери	195
Молитва учительницы	197
Проклятое слово	199
Примечания	203

Габриела МИСТРАЛЬ

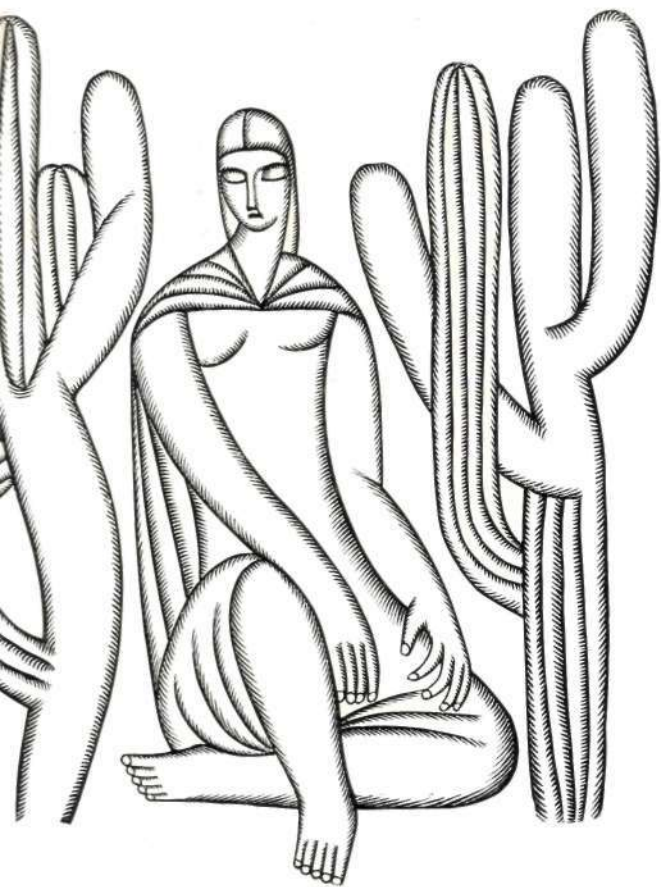
Лирика

Редактор *С. Вафа*
Художественный редактор *Г. Клодт*
Технический редактор *Л. Сутина*
Корректор *Т. Козменко*

Сдано в набор 29/XII 1962 г.
Подписано к печати 22/V 1963 г.
А 01977. Бумага 70 X 90¹/₃₂. 0,5 печ. л.
7,6 усл. печ. л. 5,21 уч.-изд. л.
Тираж 25 000 экз. Заказ № 1013.
Цена 41 коп.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.



Габриела
Мистраль